



11.780 К. 7

Д.м. Семеновский

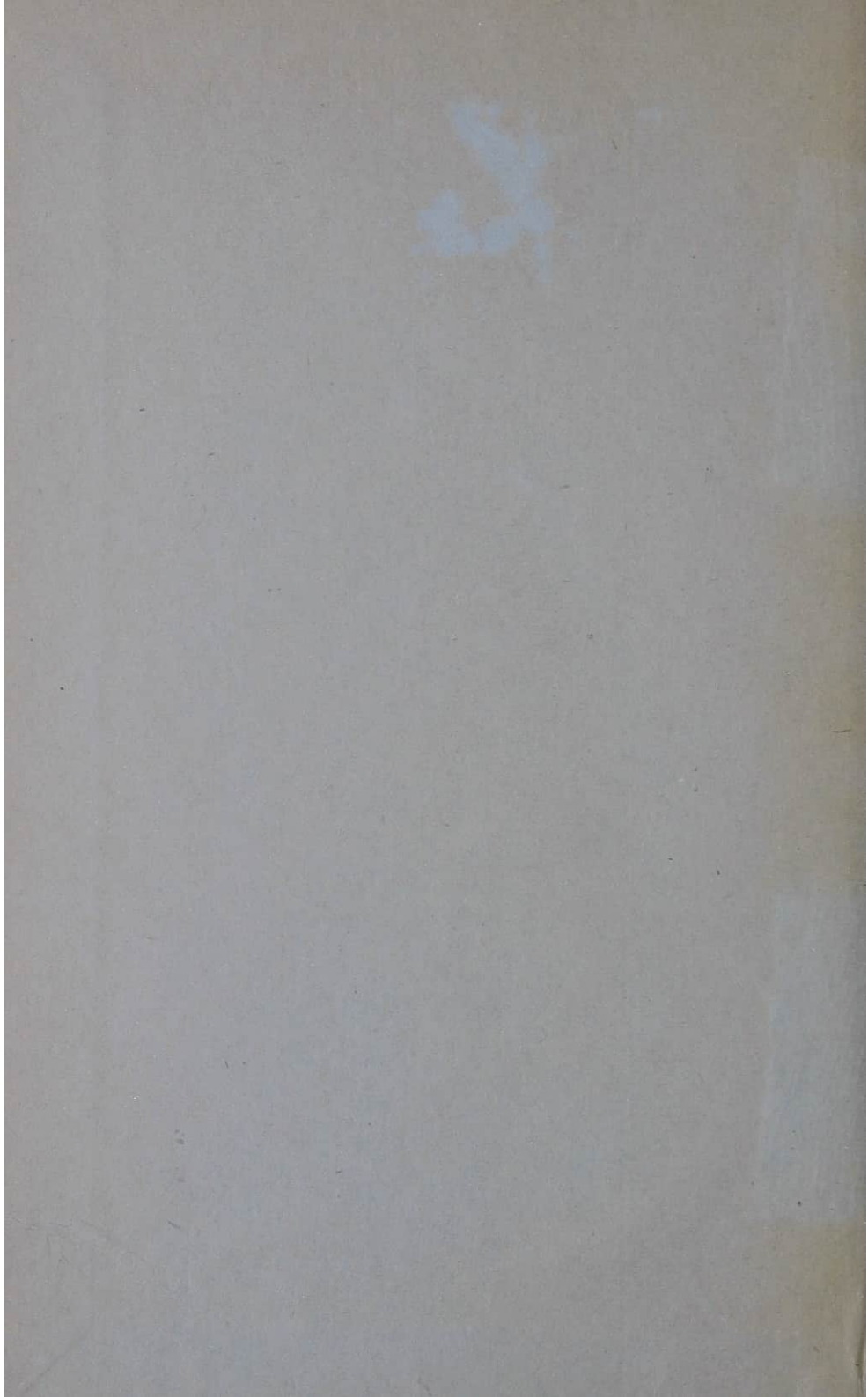


ИЗБРАННОЕ



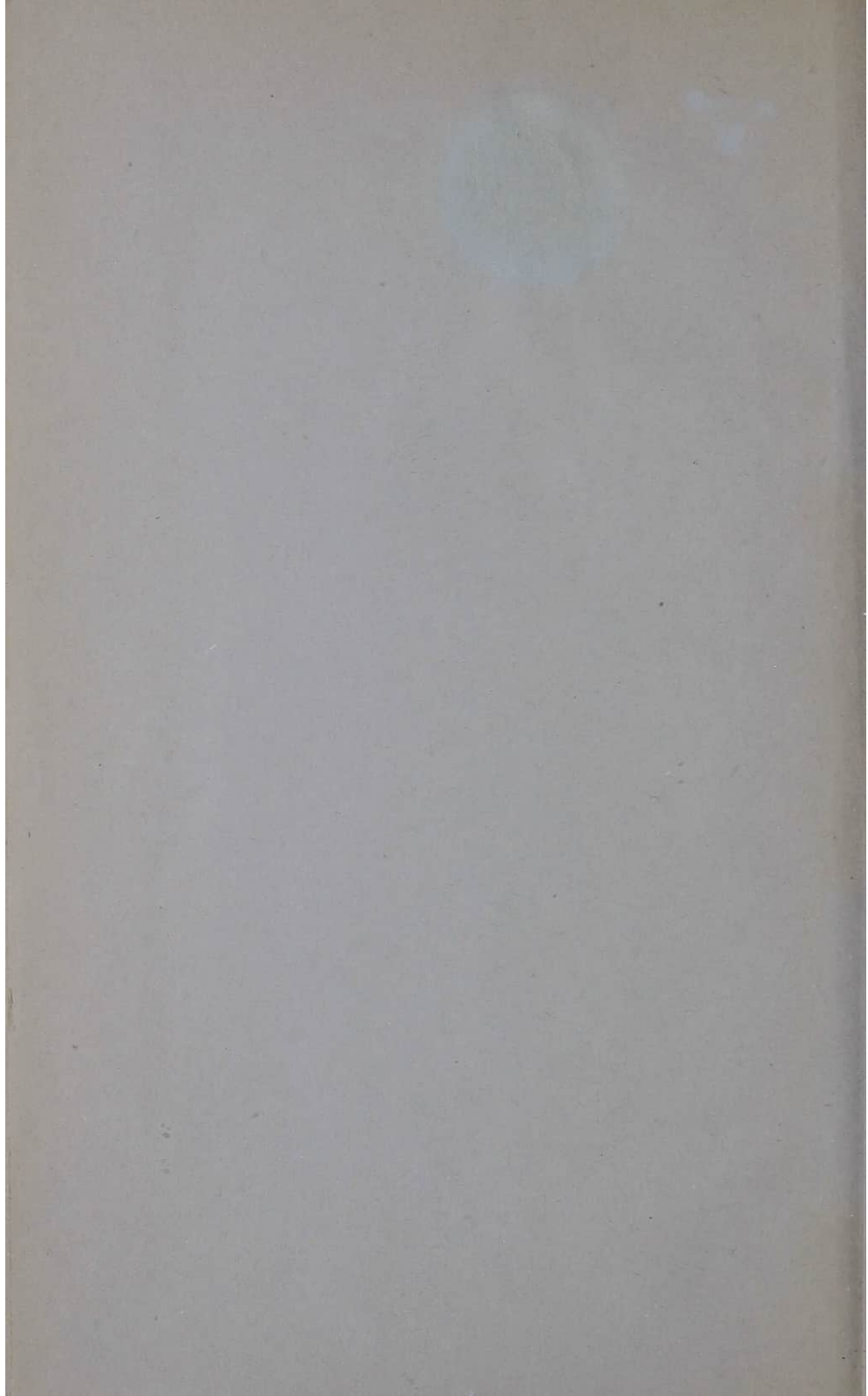
*Ивановское
Книжное Издательство*

1955



КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. предыд. выдач _____ →





[Faint handwritten text, possibly a signature or date, is visible at the bottom of the page.]



Д.м. Семеновский

Д. М. Семеновский

ИЗБРАННОЕ

Стихи и проза



*Ивановское
Книжное Издательство*

1955

5-2010

11.780к.

54

Владимирская

ИЗДАТЕЛЬСТВО



1924

0102 -

О СЕБЕ

Мой дед, священник села Семеновского, Суздальского уезда, Владимирской губернии, Николай Семеновский, умер в суздальской монастырской тюрьме, куда был заключен духовным начальством за буйное поведение.

Отец мой, Николай Николаевич, в молодости был сельским учителем. Позднее, женившись на моей матери, Варваре Ивановне Троицкой, поступил в священники, а после революции занимался крестьянским трудом. Мать образования не получила, но всю жизнь много читала, любила песни, пословицы и сама говорила ярким народным языком.

Я родился в 1894 году в селе Меховицах, Ковровского уезда, Владимирской губернии. Когда мне было три года, наша семья переехала в село Юрьевское, Шуйского уезда, недалеко от г. Иваново-Вознесенска.

Я рос, играл и учился с крестьянскими детьми. Читать начал еще до школы. В школьные годы у меня появилась страсть к рисованию. Все смотрели на меня как на будущего художника.

Когда я окончил церковно-приходскую школу, меня отдали в Шуйское духовное училище. Я стал много читать, полюбил стихи. Хотелось писать самому.

Помню, как в жаркий весенний день вдвоем с товарищем я отправился за город в Марьину рощу. Шагая по дороге к манившему прохладой лесу, складывал:

Шумный город остался далеко за мной,
Впереди ж необъятный простор...

Было мне в то время, вероятно, лет 13—14.

Рано встал передо мной вопрос о цели жизни. Ответ на него мне дали строки Некрасова, — их, как девиз, я вписал в заветную записную книжку:

Иди к униженным,
Иди к обиженным,
По их стопам...

В воздухе еще дрожали отзвуки революции Пятого года. В шуйском книжном магазине «Наука» я доставал брошюры, в которых говорилось о том, как устроить на земле счастливую жизнь для всех. Революционные идеи и лозунги, как зерна, западали в сознание.

Духовное училище сменила Владимирская духовная семинария. Здесь я по-настоящему начал писать стихи, печатаясь иногда в газете «Старый Владимирец». По окончании четырех общеобразовательных классов семинарии можно было поступить в университет. Я мечтал о медицинском факультете. Но когда мне оставалось учиться несколько месяцев, в семинарии произошла забастовка. За участие в ней я был исключен из семинарии.

Учиться дальше помог А. М. Горький, которому я послал свои стихи. Благодаря его поддержке, я в 1913 году поступил в Московский народный университет им. Шанявского. Но через год началась первая империалистическая война, прервав мою учебу.

Когда пришла революция, я жил в Иваново-Вознесенске, служа писцом в Государственном банке. Из банка я перешел в городскую управу, а потом — в редакцию газеты «Рабочий край», которая надолго стала моим трудовым пристанищем. В 1923 году я женился на дочери фабричного художника Варваре Григорьевне Голубевой. Живя в Иваново, я печатался в московских журналах, писал книги для издательств. Большую роль в моей судьбе сыграл А. М. Горький, которому я во многом обязан своим идейным и творческим ростом. Неизгладимый след в моем сердце оставили годы Великой Отечественной войны — в феврале 1943 года на фронте погиб сын Коля.

Началом своей литературной работы я считаю 1912 год, когда в газетах «Невская звезда» и «Правда» были впервые напечатаны мои стихи. В дальнейшем я написал несколько книг стихов и прозы, в том числе сборники: «Мир хорош», стихи (1927), «Земля в цветах», стихи (1930), «Сад», поэма (1936), «Слово о полку Игореве», перевод в стихах (1938), «Мстера», очерки о народных художниках (1939), «А. М. Горький. Письма и встречи», воспоминания (1938 и 1940), «Избранные стихи» (1946), «Стихи» (1947), «Ра-

дуга», стихи (1948), «Ванина рубашка», стихи для детей (1950), «Огни мира», стихи (1952).

Я унаследовал от матери любовь к выразительной народной речи, к фольклору. В юности собирал частушки, пытался записывать сказки. Стремление познать родной край влекло меня к новым местам, к новым людям. Жил я среди народных художников прославленных сёл Палеха и Мстеры, дышал по летам раздольем Волги, Клязьмы, Нерли.

Глубокое впечатление произвела на меня поездка по Волге в Сталинград в 1951 году. До сих пор ношу в себе мысли и чувства, вызванные зрелищем возрождающегося города над великой русской рекой. И снова ищу я слов, чтобы ярче и полнее запечатлеть непреходящую красоту родной советской земли и облик ее изумительных людей.

1 августа 1954 г

*Стихи
разное*

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.



*Стихи
разных лет*





CHURCH
FASHION



МЫ — ЗА МИР

Мы — за мир. Нам война не нужна.
Не затем мы сады насаждаем,
Не затем города создаем,
Чтобы их истребила она.
Мы далеким векам
Завещаем свой труд.
Наши дети для жизни
И счастья растут.

В наших замыслах, в наших делах
Настоящее дышит грядущим.
Мир вам, юные рощи в степях,
Мир потокам, в пустыни бегущим,
Мир тому, кто песков
Раскаленную медь
Хочет в золото грузных
Колосьев одеть!

Не позволим, чтоб жатва смертей
Всходам нивы людской угрожала
И в предчувствии бед за детей
Материнское сердце дрожало,
Силой правды,
Трудом повседневным своим,
Всенародною дружбой
Мы мир отстоим!

1951

ПОД ЮЖНЫМ СОЛНЦЕМ

1

Осеннюю изморось, вестницу вьюг,
Мы сзади оставили где-то,
А поезд несет нас всё дальше на юг,
Туда, где и осенью — лето.

Бегут километры. Уже далеко
Родная сторонка лесная.
И вправо и влево легла широко
Степная равнина без края.

Часами ты жадно глядишь из окна
В степные просторы. Не их ли
Чудовищным плугом вспахала война,
Изрыли железные вихри?

Но где же глубокие раны земли —
Воронки и рвы? Неужели,
Как раны на теле, они заросли,
Бесследно исчезнуть успели?

Где двигался танк и гремела стрельба,
Там, на поле битвы кровавой,
Прошли трактора и созрели хлеба
И травы пушатся атавой.

И вдруг — перед взором руины стены,
Оконных пролётов глазницы.
Так вот они, грозные знаки войны,
Трагической были страницы.

А рядом, где в землю зарылся блиндаж,
Возводится новое зданье.

Д1233
Том 1
Кирпич на кирпич и этаж на этаж
Бросает порыв созиданья.

Вагон потеплевший окурен, обжит.
Друзьями мы стали соседям.
Не первые сутки наш поезд бежит.
Мы где-то за Харьковом едем.

Подсолнухи, мельницы, будки, пруды
Пронесются в окнах вагона.
У хаток белёных пестреют сады,
Стоят тополей веретёна.

Анисом, антоновкой поезд пропах,
Томатами алыми пышет.
Затеряны мы в черноземных степях,
Где всё изобилием дышит.

А небо всё чаще цветет синевою
Над ширью безлесной равнины,
И слух наш обласкан певучей молвой,
Приятной молвой Украины.

2

В то утро неласково встретил нас Крым:
Снежком да морозом колючим.
Трубя, наш автобус бежит по седым
И звонким от холода кручам.

Извилисты, узки дороги в горах,
Да ловки шофёры, неробки.
Навстречу, будя в нас тревогу и страх,
Несутся трехтонок коробки.

Как солью, покрыты вершин крутизны.
Сковал виноградники иней.
Колхозники возле дороги в чаны
Кладут виноград черно-синий.

Но что там туманно синеет вдали
За пестрой грядой перевала?
Иль это с небес на равнину земли
Тяжелая туча упала?

— Товарищи, море! — сказал наш сосед.
Так вот оно, море, какое!
И вдруг торжествующий солнечный свет
Зажег всё пространство морское.

То вправо, то влево дорога ведет,
А дальние горы, как рама,
И море в той раме стеною встает
То справа, то слева, то прямо.

И вот уж под нами синее оно,
Раскрыв неохватные дали.
О, море! О, синее диво! Давно
Мы встречи с тобой ожидали.

Давно мы стремились к утёсам твоим,
В объятия влаги прохладной.
Прими же пришельцев, лазоревый Крым,
Полуденный сад виноградный!

Раскрой перед нами богатства свои,
Солёною пеною брызги
И надолго силы гостей обнови
Для творческой радостной жизни!

3

Ползут по вершине горы облака,
А ниже, по горному склону,
Идут кипарисы, дома городка
К морскому спускаются лону.

И в этих местах прокатилась война
Лавиной огня и металла.
Как много домов разгромила она,
Какие дворцы разметала!

Но смолкли, не рвут на куски тишину
Слепящие молнии фронта,
И мирно ребята играют в войну
Под ладную песню ремонта.

Взбираются козы на горный откос,
Огнями стрельбы опаленный,

И мальчик-пастух под ногами у коз
Находит пустые патроны.

Журчат голоса невидимок-цикад.
Звенит, как бубенчик, синица.
Кистями на лозах висит виноград
И грузно в корзины ложится.

И лакомки-осы летят на его
Тяжелое липкое золото.
Орехами, грушами, спелой айвой
Осенняя Ялта богата.

Уж крымское солнышко плечи твои
Окрасило в цвет шоколада,
И огненным хмелем играет в крови
Пурпуровый сок винограда.

Идем мы навстречу зеленым волнам,
А море поет и сверкает —
И молодость вновь возвращается к нам
И счастьем сердца наполняет.

4

Дорога ведет в поднебесную высь,
Чертя повороты и петли.
По ней мы в заоблачный край поднялись —
К зубчатым утесам Ай-Петри.

Какой распахнулся пред нами простор!
Вон тяжкая туша медвежья —
Гора Аю-Даг. Тут Гурзуф, там Мисхор
Раскинулись вдоль побережья.

Рассыпался сахаром город внизу,
Откуда пришли мы с тобою,
А море, качая свою бирюзу,
Вскипает каемкой прибоя.

Как ясно и четко нам видны с горы
Изгибы заливов и мысов,
Осенней листвы золотые костры
И темный убор кипарисов!

Глядим мы с вершины на эту красу,
И каждый в душе повторяет:
«О, пусть я с собою её унесу,
Пусть вечно она мне сияет!»

Орлиным гнездом на вершину горы
Закинута чья-то могила.
Цветов и венков погребальных дары
Любовь на неё положила.

И кто-то усердной рукой нанизал
На строгом простом обелиске
Строку за строкой — имена партизан,
Зарытых под холмиком низким.

И мы перед холмиком этим стоим
В задумчивой тихой печали.
Они воевали за солнечный Крым,
За родину жизнь отдавали.

За море и горы их кровь пролита,
За свет, за тепло и обилье,
За то, чтобы райские эти места
Вовеки советскими были.

Их подвиг вернул нам прохладу волны,
Дворцы, кипарисы, платаны.
И вот мы счастливы, мы жизни полны,
Мы дышим, они — бездыханны.

Товарищи, пройден ваш путь боевой —
И жизни конец и походу.
«Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу».

Но нет, вы живете. Вы — в наших сердцах,
Вы — в солнечном свете и ветре.
Вы — в тучке сквозной, что гостит на зубцах
Гранитных утесов Ай-Петри.

Всё славою вашей овеяно тут:
Тропинки над глубиной ущелий,
Пещеры, где вы находили приют,
Дубравы, где пули свистели.

О, холмики братских солдатских могил!
Их много везде: над Невую,
В Поволжье,— повсюду, где фронт проходил,
Змеясь бороздой огневою.

Их много у тихих дорог полевых
И в городе, в грохоте улиц,
И нити незримые к душам живых
От этих могил протянулись.

Тут снова открылася рана твоя:
Звала нас могила другая,
Звала в залитые дождями поля
Смоленского дальнего края.

5

Давно мы покинули юг голубой,
Но где бы теперь мы ни жили,
Всё будет нам сниться высокий прибор,
Весь в облаке радужной пыли.

Мы видим утесы Ай-Петри,— венец,
Повязанный легкою тучей,
И горного леса осенний багрец,
И холмик могилы над кручей.

Как милое имя, мы шепчем: Мисхор.
Пред нами — равнина морская,
И волн многозвонных торжественный хор
Поет нам, поет, не смолкая.

1947

СТИХИ О СТАЛИНГРАДЕ

*...И вся страна тобой гордится.
И вся земля тебе дивится,
Герой грядущих Иллиад,
Непобедимый Сталинград!*

1. СТАЛИНГРАДКИ

Когда на город, взвихрив дым и пламя,
Обрушивала вражьи бомбы высь,
Они сухими, страшными глазами
Смотрели, как в огне горит их жизнь.

Им стали кровом нор подземных щели.
Взметали землю взрывы бомб и мин,
Но женщины покинуть не хотели
Омытых кровью, дорогих руин.

И вот настал конец смертельной схватке,
Повеяла победа тишиной.
Средь пепелищ блуждали сталинградки,
Не находя, где дом стоял родной.

Ни уцелевшей улицы, ни сада.
На всем — войны суровая печать.
И думали хозяйки Сталинграда,
Как дальше жить, чем новый день начать?

И что тогда им силы придавало
Под ношею лишений и утрат,
Чтоб разбирать кирпичные завалы
И возрождать любимый Сталинград?

Он был истерзан, весь разбит, размолот,
Но женщинам в дали грядущих дней

Уж виделся другой, прекрасный город
Счастливых, сильных, радостных людей.

Горели жаждой — в камне и в известке
Пленительную воплотить мечту.
Строительные белые подмости
Вели работниц к солнцу, в высоту.

И всей страной, всей целиной народной
Поддержан был их трудовой порыв.
Так волны Волги вешний полноводный
Расплескивает по лугам разлив.

Там, где под танком рушилась траншея,
Манит прохожих зыбкой тенью сад,
И, что ни год, всё больше хорошея,
Глядит на Волгу новый Сталинград.

Здесь братские могилы цветниками,
Как пестрыми коврами, убраны.
Кто насаждал их щедрыми руками?
Кто, как цветы, растит сирот войны?

Сиротства здесь не чувствуют сироты.
Они растут, весенние цветы,
Под солнцем женской греющей заботы,
Под лаской животворной доброты.

Идут ребята в летний день рядами
По городу. Оркестра медь поет.
Колышется малиновое знамя.
То — будущее Родины идет.

Для будущего строят сталинградки
Дома-дворцы на пепле и крови.
Для будущего к детской льнут кровати,
Свои сердца отдав большой любви.

Для всех детей за мир в огромном мире,
Как воины, стеной стоят они.
И для детей у вольной волжской шири
Великих строек вспыхнули огни.



И в тех огнях береговых, глядящих
В степную даль, где засухам конец,
Есть жаркий трепет их сердец горящих,
Их мужественных, любящих сердец.

2. ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

Светит солнце, и ветер играет с волной.
Волга в беге своем неустанным
Гладит ласково берег, изрытый войной,
К незалеченным ластится ранам.

А над Волгой встает в величавой красе
Новый город из пепла развалин.
Здесь в боях за Царицын, в гражданской грозе
Путь к победе прокладывал Сталин.

Здесь смертельно был ранен свирепый фашизм.
Много дней и ночей сталинградцы,
Мира войны, насмерть стояли за жизнь,
Зверю не дали к Волге прорваться.

Потому и нельзя без волнения ступить
По нагорному берегу Волги —
По земле сталинградской, где каждую пядь
Осыпали разрывов осколки.

Приезжают сюда делегаты всех стран,
Побывали и чешские гости.
Поднимались они на Мамаев курган,
Где героев покоятся кости.

На могилах цветы полыхали-цвели.
И, склонясь над могилою братской,
Гости взяли на память по горсти земли,
Опаленной земли сталинградской.

И смотрели с бугра на раздолье реки,
На дворцы голубых пароходов,
На бегущий автобус, на скверов венки,
На высокие трубы заводов.

Был им виден широкий простор площадей,
Видны белые кубики зданий,
Город сильных душой, щедрых сердцем людей,
Дел великих и смелых дерзаний.

Многоверстный канал протянулся вдали,
Где двух рек повстречаются воды.
Будет Волга донские качать корабли,
Дон — прекрасной сестры теплоходы.

Зеленела дубовыми рощами степь.
Берег Волги копали машины.
В жизнь войдет изобилием твердая крепь
Сталинградской гигантской плотины.

Благодарные гости домой унесли
Вместе с прахом, навеки священным,
Образ спасшей весь мир сталинградской земли,
Возрожденной трудом вдохновенным.

3. УЛИЦА МИРА

Где зданья размалывала канонада,
Где битва великая шла,
Там улица Мира, краса Сталинграда,
Громады домов вознесла.

На них залюбуешься ты поневоде,—
Так ладны они, так стройны.
Их создали те, кто всем сердцем, всей волей,
Всем разумом — против войны.

Как много они героизма вложили,
Те люди, в работу свою!
Их мины под щепнем руин сторожили,—
Были зодчий, как воин в бою.

Завалы камней и железного лома
Пред ним громоздились горой,
И там, где лежать оснований дома,
Блиндаж притаился сырой.

И — строили улицу с думой о мире,
С душевной заботой о том,
Чтоб вольно дышалось в новой квартире,
Чтоб солнце наполнило дом.

И мира твердыней над Волгой широкой
Вздыхается город-герой.
Огни его строек далёко-далёко
Шлют свет свой вечерней порой.

Вся в жарком сиянии улица Мира.
И диво ли то, что она
Из всех уголков необъятного мира
Простому народу видна!

Лионским ткачам, матерям из Алжира,
Всем, всем, кто не хочет войны,
Близка лучезарная улица Мира
В просторах Советской страны.

1952

ДВА БРАТА

Два брата, два солдата
Вернулись в отчий дом —
Отважные ребята
И плотники притом.

Героем Сталинграда
Один из братьев был,
Другой у Ленинграда
Врагов заклятых бил.

И брат промолвил брату:
— Нам отдыхать нельзя.
Ты нужен Ленинграду,
Как Сталинграду я.

Их рушил и калечил
Железный ураган.
Пойдем скорей, залечим
Провалы тяжких ран!—

И брату брат ответил:
— В дорогу я готов.
Стучит мне в сердце пепел
Сожженных городов.

Я зов отчизны слышу
В твоей тревоге, брат.
Чтоб дать бездомным крышу,
Работать буду рад!—

Два плотника, два брата
Отправились в поход.
Прощай, родная хата!
Их новый подвиг ждет.

У каждого — котомка,
У каждого — топор.
Родимая сторонка —
Немеряный простор.

Березки да сосёнки,
Росинки на траве
Да жаворонок звонкий
В небесной синеве.

Но вот расстаться надо —
И обнял брата брат:
— Пиши из Ленинграда!
— Приветствуй Сталинград!

1947

В МАЙСКИЙ ДЕНЬ

Майское небо цветет синевою.
Клены обрызганы клейкой листвою.
С музыкой, в ногу шагает отряд,
Трубы оркестра на солнце горят.
Поступи в лад раздаются слова:
— Левой! Раз-два! Раз-два!

Три командира идут впереди.
Блещут медали у всех на груди.
Рядом с отрядом ребята бегут.
Девочки маленьких братьев ведут.
Сколько восторга на лицах ребят!
Все с восхищением глядят на солдат.
А мальчуган, забежавший вперед,
Пред командирами браво идет.
Руки по швам, поднята голова.
— Левой! Раз-два! Раз-два!

Кажется мальчику, будто вперед
Он весь отряд за собою ведет,
Видит себя полководцем он. Что ж,
И не заметим, как ты подрастешь.
Сбудутся детские сны и мечты:
Станешь защитником Родины ты.
Будешь ты мир на земле охранять,
Чтобы пожару войны не пылать,
Чтобы все пушечные короли
Новой войны развязать не могли.
Звонко чекань же шаги и слова:
— Левой! Раз-два! Раз-два!

ЛИЦО ЗЕМЛИ

Долго шли мы сечами, полями.
Ветерок трепал вихры овса.
Хмурыми широкими бровями
Синие вдали сошлись леса.

Как морщинка тихой, долгой думы,
Пролегла лощинка по полям.
На холме под лиственные шумы
Прислонились избы к тополям.

Ты в порыве молодом сказала:
— Милая земля!..—

И вдруг, припав
К холодку тропы, поцеловала
Шелковинки придорожных трав.

Красота родных раздолий с детства
Дорога нам, но и до сих пор
Мы не можем вдоволь наглядеться
На широкий северный простор.

Любим зиму, радуемся лету,
Росту злаков, ягод и грибов
И утратим только с жизнью эту
Теплую и верную любовь.

1941

ВОЛГА

Славно пахнут пристани на Волге —
Просмоленным деревом, пенькою.
Разливные песни пароходов
По воде разносятся далёко.
Летний день сиял горячим солнцем,
Овевал прохладным влажным ветром.
С пароходной палубы, открытой
Солнцу, ветру и речной прохладе,
Мы смотрели в дремлющие дали,
В марево полуденного зноя.
Уж давно ушел из глаз гористый
Кинешемский берег. Обгоняли
Мы плотов смолистых вереницы
С бородатymi богатырями
Из лесного сумрачного края,
Где таятся лоси и медведи.
Как за гусем серые гусыни,
Плыли за буксирным пароходом
Грузные, медлительные барки
С домиком игрушечным, с хозяйкой,
Там и сям развесившей на солнце
Мокрое белье. Бежали снизу
Нам навстречу по стеклянной глади
Праздничные белые громады,
Шлейфом расстилая за кормою
Длинную волнистую дорогу.
С криками за ними гнались чайки
И в струистой отражались влаге.
У Николы-Меры по дощатым,
Низко прогибающимся сходням,
Торопясь, сошли на берег бабы
В разноцветных ситцевых платочках,

С узелками, с сумками, с мешками,
Мальчик с книжкой, девочка с корзинкой
И сухой, кирпично-загорелый
Дед с косой, завернутой в тряпицу.
И опять, опять тянулись мимо
Бархатные мели, перекаты,
Красные береговые кручи,
Узкие глубокие овраги
С темной хвоей островерхих елок,
С белизной березников сквозистых,
Восходящих светлыми толпами
На холмы, покрытые травой.
И опять сменялись деревеньки,
Луговины с круглыми стогами,
Мальчуганы с удочками, лодки,
Пристани, стада у водопоя.

Уж и Решму миновали. Где-то
Впереди, за мглой зовущей дали,
Затаился Юрьеvec-Поволжский
С тихой Унжей, скрытницей лесною.
Хороши вы, города Поволжья!
Тайный час вас обращает в сказки,
Теплым летом, в легкой дымке утра,
Полны вы мерцанья золотого.
Ожерельем огоньков манящих
Светитесь вы в сумерках закатных.
Хороша ты, труженица Волга, —
Желтые рассыпчатые косы,
Грудь высокая — волна крутая,
Белые туманы — сарафаны!
Небо было чисто, волны — сини.
На лугах, на островах зеленых
Убирали молодое сено,
И ласкавший наши лица ветер
Веял ароматом сенокоса,
Медом васильков, а нам казалось:
Это — запах васильково-синей,
Величаво движущейся влаги,
Это волны Волги обернулись
Синими душистыми цветами.

1944

ЮРЬЕВЕЦ

1

Поднимись по тропинке на темя высокой горы,
Встань у края обрыва
И взгляни, как за Волгой лугов разлетелись ковры,
Как лесная раскинулась грива.

И мечтой улетаю туда, где туманы легли,
К полным тайны и сумрака борам,
Ты вздохни всей громадой воды и цветущей земли,
Всем великим простором.

Ты поймешь, отчего здесь народ так могуч и красив,
Как нагорные сосны красивы,
Отчего здесь и песни безбрежны, как Волга в разлив,
И людские порывы.

Если б крылья тебе, вольной чайкой помчалась бы ты
В эти синие дали.
Лес такой васильковый, раздолье такой широты
Лишь во сне мы видали.

Веет ветер медвяный из синей счастливой страны,
Машут лапами сосны,
И звенят наши души, как две однозвучных струны,
Под лесной разговор стоголосный.

2

А внизу, пред подножием глинисто-рыжих холмов,
Полон бодрого гула,
Расстилается Юрьевец лентой садов и домов,
Унжа к Волге прильнула.

О, каких эта ширь не навеет видений и дум!
Вспомнишь древние были.
Вот по этим тропинкам ступал протопоп Аввакум,
Здесь и меч и пожары народную силу губили.

Здесь, раздев бедняка, разживались казною купцы,
Бурлаки, надрываясь, тянули судов караваны.
Та пора отошла. Заживают былого рубцы,
Закрываются прежние раны.

Посмотри: из прохладно-зеленой лесной темноты,
Из разбуженных недр захоластья
Быстроходная Унжа несет смоляные плоты
На раздолье веселого устья.

Лесопилка-оса над поволжской звенит шириной,
И скликают рабочих заводы.
Не княжой, не купеческий, — новый, иной
Город смотрится в светлые воды.

Голубые дворцы пароходов плывут по реке,
Веют флаги, так празднично-ярки.
Крылья чаек блестят. Быстрый катер бежит налегке,
Тихо тянутся грузные барки.

А когда от заката зардеют края облаков
И тепло озарятся крутые откосы,
Как торжественно песни густых пароходных гудков
Оглашают притихшие плесы!

Мотыльками трепещут огни в подступающей мгле.
Потемнела верхушка далекого стога.
И дрожит от луны на речном переливном стекле
Золотая дорога.

1937

ГОРОД В ПОЛЕ

Поля, волнистые поля.
В полях белеет Юрьев-Польский.
Не раз о крепь его кремля
Хлестал степной прибой монгольский.

Не раз из пепла он вставал
И рос и ширился упрямо.
Чего ни видел древний вал,
Ровесник низенького храма!

Былой оплот земли родной,
Восьмивековый русский город,
Он жизнью с ней живет одной,
Её он молодостью молод.

Кто добивается побед
В борьбе за хлеб? Он, Юрьев-Польский.
В его делах, пускай он сед,
Задор вскипает комсомольский.

Поют фабричные гудки,
Стоят ткачихи за станками.
Везут зерно грузовики,
Набиты доверху мешками.

Горит на площади базар
Горшками, яблоками, ситцем.
Густая, черная, как вар,
Прилипла грязь к колесным спицам.

С утра подводы в городок
Катились то с горы, то в горку,

Хромая в колеях дорог
И бормоча скороговорку.

Столбы шагали вдоль шоссе
Среди пшеницы, льна и гречи.
Травинки искрились в росе,
Ветряк махал крылом далече.

Но вот дорога — под уклон,
И над волнистою равниной,
Как остров в море, вырос он,
Пригожий городок старинный.

1947

ВЛАДИМИР

Князь Андрей вернулся в свой Владимир.
Вместе с ним из Киевской земли
С матерями, с батьками седыми
Новосёлы-парубки пришли.

Высоки владимирские горы,
Глубоки на Клязьме омута,
Сумрачны заклязьменские боры,—
В них и днем, как ночью, темнота.

И переселенцы вспоминали
Солнечную киевскую Русь,
Где они родились, где знавали
Труд и радость, и любовь, и грусть.

Нет, ничем из памяти не выбить,
Как весной цветет вишневый сад,
Как течет серебряная Лыбедь
Мимо светлых киевских палат.

Принесли с собою киевляне
В дар тебе, лесная сторона,
Южных рек и городов названья
И садов вишневых семена.

Дома их водой поила Лыбедь.
Тут река другая, но и тут,
Чтобы край суровый разулыбить,
Лыбедью они её зовут.

В Киеве — Ворота Золотые,
Быть Воротам Золотым и здесь,
И сады вишнёвые густые
По горам над Клязьмой будут цвести.

Рядом новосёлы срубы срубят,
Печи сложат, избы обживут,
Север не улыбочивый полюбят
И его отчизной назовут.

1947

МИЧУРИН

В городе Мичуринске,
Опушен травой,
Высятся на площади
Холмик земляной.

Крепко спит Мичурин!
Яблоня над ним
Рядится цветами —
Кружевом сквозным.

Далеко разносится
Сладкий аромат.
А гранитный памятник
Обвил виноград.

Крепко спит Мичурин,
Подвиг свой свершив.
Труд его бессмертен
Сад чудесный жив!

1951

ГОСТИ В ЧЕГАНОВЕ

Ой, ты, Волга полноводная,
Мать-поволжская земля!
Вдаль уходят хлебородные
Обновленные поля.

Поспевает рожь-красавица,
Наливается овёс.
Далеко хлебами славится
Наш Чегановский колхоз.

И недаром к нам в Чеганово
Поезда везут гостей
Из столицы, из Иванова,
Из далеких областей.

Раз крестьяне из Румынии
Приезжали в наш колхоз.
Было тихо небо синее
Над вершинами берез.

Полевой дорогой торною
Потихоньку гости шли,
На пшеницу крупнозёрную
Наглядеться не могли.

Молодой крестьянин спрашивал,
Разминая колосок:
— В чем секрет успеха вашего?
Ведь земля у вас — песок!

Поделитесь с нами тайною,
Как сумели вы, друзья,
Сделать нивой урожайною
Эти скудные поля?

— Наша тайна — объяснимая:
Эти желтые поля —
Наша родина любимая,
Сердцу милая земля.

Сердцу милая, колхозная,
За которую не раз
Дней войны тревога грозная
Поднимала в битву нас.

Хорошо на ней работает
Наш чегановский народ,
И она, как мать, с охотою
Урожай нам дает!

1951

*
**

Милый друг, половину души
Я оставил в любимой глуши.
Там зимой до рассвета встают.
Днем работают, песни поют.

А железная ночь долга,
Небо в звездах течет на снега.
Пышно инеем опущены
Голубые ресницы сосны.

Небо звездное, лес и снега,
Сердцу ваша краса дорога,
И в потоке стремительных дней
Я люблю вас нежней и больней.

1924

МЕЧТА

Отеллась вечером Бурёнка.
Уродилась телка мастью в мать.
Лишь родилась — замычала звонко.
Стала резво на ноги вставать.

В мать пошла не по одной лишь масти,—
Оказалась умницей: легко
Научилась у доярки Насти
С пальца пить парное молоко.

Так пила, что и родное вымя
Не могла б усерднее сосать.
Надо дать новорожденной имя,
Чтобы телку в книгу записать.

Назвала Мечтой её доярка.
Назвала так, верно, потому,
Что всю ночь над ней мечтала жарко,
Слушая настойчивое «му».

О хорошем, радостном мечтала:
Вот её телушка подросла,
Молоко давать густое стала,—
По удоям тоже в мать пошла.

Вырастит свою телушку Настя,
Сделает коровой золотой,—
Принесет колхозу много счастья,
Славу принесет своей Мечтой!

1950

ЗА ЛЮБОВЬ

В дни отрочества, теплым летом,
Душе раскрывшейся моей
Блеснула путеводным светом
Мечта о счастье всех людей.

И, опалив негодованьем,
Вошел мне в сердце дух вражды
К людским невзгодам и страданиям,
К твердыням горя и нужды.

Есть мир гармонии и лада,
Но чтоб найти к нему пути,
Сквозь мрачный хаос жизни надо
Знамена гнева пронести.

Мне тяжело, когда, подобя
Людей зверям, слепая кровь
Темнит их взор, но — слава злобе,
Воинствующей за любовь!

1923

ЛЕНИН

Зерно, в сырой земле почив,
Ростком из мрака прокололось,
И на просторе светлых нив
Зазолотился первый колос.

Он умер, вождь народных масс,
Людского горя враг суровый.
Но мысль его в умах у нас
Рождает всходы правды новой.

Придет пора всемирных жатв,
Пора обилия и света,
И под серпами задрожат
Колосья золотого лета.

1924

КРОВЬ ТРИДЦАТИ

*Памяти 30 иваново-вознесенских рабочих,
расстрелянных 10 августа 1915 года*

Шла к острогу ткачей безоружная рать,
Заклученных товарищей шла выручать,
По Приказному мосту их путь проходил.
Офицер из засады солдат выводил.

На рабочих направил винтовки отряд.
Залпы воздух рванули три раза подряд.
На Приказном мосту расстреляли ткачей.
Побагровел от крови в овраге ручей.

Тридцать жизней скосил беспощадный свинец.
Не воротится к детям кормилец-отец,
Муж не будет жену миловать-обнимать,
И ослепнет от слез неутешная мать.

Ночью плакал сиротка о мертвом отце.
Богачи пировали в нарядном дворце.
Алой кровью сверкало вино в хрустале.
Кто-то в окна смотрел, притаившись во мгле.

Грянул гром Октября, перекатно гудя.
Встал рабочий народ, неподкупный судья,—
И ничто не могло от расплаты спасти
Тех, которые пролили кровь тридцати.

Прах расстрелянных в братской могиле зарыт,
Их горячая кровь на знаменах горит.
На знаменах горит и зовет всё вперед,
По дороге труда нас к победам ведет!

1950

ГОРЬКИЙ

1

Помню май, дождей алмазных капли.
Листья в горько пахнущем клею.
Помню строки с Капри,
Юность озарившие мою.

Как благоуханье клейких почек,
Как напевы перелетных птиц и пчел,
В жизнь мою вошел тот щедрый почерк,
Голос упоительный вошел.

Этот голос бодрого привета,
Горделивой радостью пьяня,
В праздничном призвании поэта
Утверждал уверенно меня.

И бродя по солнечным пригоркам,
Узких тропок меряя тесьму,
Благодарно думал я о Горьком,
Льнул к его душевному письму.

Он вернулся из страны изгнания.
Теплой дымкой север был одет.
Но теплей апрельского сиянья
Мне мерцал его улыбки свет.

Есть слова, что мы на сердце носим,
Есть минуты, что забыть нельзя...
Шла война, — уж во вторую осень
Пролегла кровавая стезя.

Я опять пришел к его порогу —
В сумрак финских сосен и болот.
Видел я в глазах его тревогу
За отчизну, за родной народ.

Долго лампа на столе горела.
Он писал, как на Руси живут.
Затаив дыханье, ночь смотрела
На его подвижнический труд.

Нет его. Горой гнетет утрата.
Но любовно я в груди таю
Те лучи, которые когда-то
Озарили молодость мою.

И с его напутствием сердечным
Краше песня, легче трудный путь
И к его страницам человечным
Никогда не перестанешь лнуть.

1937

2

Лунным вечером под песню моря
Старая, седая молдаванка
Вспоминала вѣщее сказанье
О вожде людей, герое Данко.

Как он вырвал пламенное сердце
Из своей окровавленной груди,
Чтоб из мрака векового леса
На простор, на солнце вышли люди.

А в степи, как искры сердца Данко,
Голубые огоньки светили.
Жадно слушал юноша-прохожий
Сказку мудрой старой Изергили.

Он сдружился с посохом дорожным,
С вольным ветром, спутником скитаний.
Много видел на дорогах жизни
Он людского горя и страданий.

Кто осветит грустный сумрак жизни?
Тяжело нависла мгла густая.
Но горит, как жаркий факел, сердце,
Искры жгучих слов в груди рождая.
И как яркий светоч лучезарный,
Поднял он пророческое слово,
Повторив всей жизнью легендарной
Славный подвиг Данко молодого.
Светят книги Горького — пылает
Сердце, не подвластное могиле,
И дорогу людям озаряет,
Словно в сказке старой Изергили.

1947

3

Он «Песнь о Буревестнике» пропел.
Ей откликались дальние набаты,
Ей громовые вторили раскаты,—
И океан народный закипел.

Промчались годы. В бой за торжество
Добра и правды шел народ — и снова
В сердцах звучало горьковское слово:
«Враг не сдается — уничтожь его!»

Но вот настали созиданья дни.
Как нужны нам и на лесах постройки
Его призывов вдохновенных строки!
На новый подвиг нас ведут они.

Вперед и выше нас они зовут,
Проникнуты большим и жарким чувством.
Он говорил, что если любишь труд,
То этот труд становится искусством.

В его созданных светят и горят
Эпохи нашей зори огневые.
Его слова и образы живые
Грядущее творят.

1946

Как живой, он глядит с высоты постамента
На столицу, на алые звезды Кремля.
Где б он ни жил: на Капри, в лазурном Сорренто,—
Он летел к тебе сердцем, родная земля!

Им гордились в России все люди простые
Их надежды и думы хранил он в себе,
Их неизвестные судьбы, их жизни глухие
Нес в своей небывало прекрасной судьбе.

Из народных глубин поднялся он к вершинам
Славы сказочной, славы всемирной своей.
Был великою жаждой творить одержим он,
Благородною жаждой рабочих людей.

Страстно верил он в творческий гений народа,
Верил всей необъятной, как Волга, душой.
И недаром растил он поэтов с завода,
Всем доступный, отзывчивый, щедрый, большой

Всё сбылось, что провидел он взором орлиным,
Оправдались надежды и думы его.
Путь, которым он шел к лучезарным вершинам.
Стал дорогой народа всего!

1951

ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ

Сквозь жизнь его прошло, как нить,
Неодолимое стремление
В послушном слове закрепить
Неповторимое мгновенье.

В избе при свете ночника,
Под небом средь степной равнины
Вверял страницам дневника
Он мысли, образы, картины.

И в страшный день, когда в тюрьму
Он брошен был и ждал расстрела,
Хотелось записать ему
Всё, что душой тогда владело.

Поникли узники-друзья:
Там, за стеной, подобно буре,
Восстанье ширилось, грозя
Труда державной диктатуре.

Их расстреляют без суда,
И, может быть, близка минута,
Когда подкатится сюда
Убийства жаждущая смута.

Толпы мятежной главари
Невинной крови будут рады.
Вот заскрежещет ключ в двери
И грохнут о порог приклады:

— Который Фурманов? А ну,
Идем!.. —

То будет путь короткий.

Присел он к мутному окну
С крестами кованой решетки.

И на бумажном лоскутке
В угрюмом сумраке темницы
Старался передать строке
Сполохи чувств и дум зарницы.

Всё гуще сумрак нависал,
Но долго, напрягая зренье,
Рукою быстрой он писал
В каком-то странном опьяненье.

И не видали сторожа,
Как муза в тишине темницы
Ему внушала «Мятежа»
Такие страстные страницы.

1946

ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР

Какая бодрая тревога
Сменила мертвенный покой!
Проваливается дорога
Под осторожную ногой.
Как в этот оттепельный вечер
Ручьев подснежных звучен бег,
Как дышит молодостью ветер,
Как пахнет молодостью снег!

Былых обманов навожденья
Не властны над моей душой,
Но светлой тайне возрожденья
Я в этот вечер — не чужой.
Душе созревшей, возмужалой,
Как прежде, радостны они,—
Созвездий трепетных огни
И колеи дороги талой.

1980

*
**

Юных глаз счастливое сиянье
И волненья радостного дрожь,
Как заветное воспоминанье,
Ты всегда в душе моей найдешь.

Помнишь: увидала, подбежала,
Хорошея сердцем и лицом,
И сияла взором и дрожала
Молодым сквозистым деревцом?

И недаром в том правдивом взоре
Так душа играла и цвела:
На любовь, на радость и на горе
Нежную ты руку мне дала.

В дни сомнений, в дни разуверений
Вспоминал я, милая, не раз
Трепет твой безудержный, весенний
И сиянье необманных глаз.

И когда на ложный путь разлада
Мы сбивались, счастья не храня,
Свет того девического взгляда
Возвращал тебе всего меня.

Дни летят. Весна сменилась летом,
В листьях плод таится золотой.
Ты лучишься новым ровным светом —
Материнства теплой красотой.

1930

*
**

Тебе неприятны мужчины
С румяными лицами. Ты
Мою худобу и морщины
Возводишь в венец красоты.

И часто любовь твоя просит
Ту силу, что сблизила нас:
— Пусть вместе, как травы, нас скосит
Прощальный печальный час!—

Мой песенный подвиг безвестен,
Но, грезами явь золотя,
Ты хочешь слагателем песен
Увидеть и наше дитя.

Свети мне, свети до кончины,
И жаркой всесильной мечтой
Мою худобу и морщины
Победно венчай с красотой!

1928

*
**

Земляника душистая сплошь
Окатила подножия рощ,
Черника, куда ни пойдешь,
Закапала кочки, как дождь,

И пальцы и губы твои —
В их липкой лиловой крови.
На плечи загаром легла
Благодать золотого тепла.

По душе нам с тобою пришлось
Эти сечи, поляны, палы,
Просторная блеклая высь,
Тонконогих берёзок стволы.

Звон кузнечиков легок и сух.
Он, как песня, ласкает нам слух.
Эту песню июльскую мы
Вспомним в синем затишье зимы.

Вспомним поля медовую сушь,
Мхов лесных голубое шитье,
Шмеля придорожного плюш, —
Всё летнее счастье свое.

И долго, и долго, мой друг,
В дни седые морозов и вьюг
С наших рук и сердец не сойдет
Знойных дней золотистый налет.

И бодро пойдём мы с тобой
Под легкою ношей труда,
Как шли васильковой тропой
В даль, где леса темнела гряда.

1934

ВЕСНУШКИ

Еще зима не поддается
Каплям и сырým ветрам,
И белой бабочкою вьется
Снежинка у оконных рам.

Вот запорхали хороводы
Сереброкрылых мотыльков,
И прячут лица пешеходы
В нагретый мех воротников.

Вдруг встречной девочки-дурнушки
Лицо на миг увидел я.
Как брызги солнышка, веснушки
Цвели в холодном свете дня.

И сразу сделалось теплее,
И протянулся след к весне,
И эта девочка милее
Красавиц показалась мне.

1946

МАТЬ

Узкой стала ситцевая блузка,
Желтизна легла у губ, а всё ж
Облик твой прекрасен, ибо миру
Будущее ты в себе несешь.

И когда походкой осторожной
Ты одна идешь куда-нибудь,
Все тебе от мала до велика
Уступают путь.

Вечер. Лампа с белым абажуром.
Ты склонилась возле над шитьем.
Теплые покоятся отсветы
На проборе, на лице твоём.

Молча шьешь — и всё одно и то же,
Всё одно и то же на уме:
— Кто-то он, живущий возле сердца
В бережливой тьме?

Сын, опора поздних лет, иль дочка,
Обаянья твоего двойник,
Гордая праматерь сильных и счастливых,
Нежности родник?

Матери Великих и Бессмертных,
Верно, про себя шептали то ж:
— Кто-то он, живущий возле сердца?
На кого похож?

Может быть, судьба на радость людям
Посылает и твое дитя.
Ветром по устам твое провеет имя,
Благодарность и восторг будя.

И огромный день, когда в родильном доме
Напрягалась ты от боли, как струна,
Праздничными флагами отметит
Вся твоя страна.

Капля человеческого моря,
Незаметная среди других,
Будешь ты вознесена высоко
В помыслах людских.

И великий праздник материнства,
Светлый праздник радости твоей,
Увенчает ореолом славы
Тысячи безвестных матерей.

1935

ДЕТИ

Шумят под окном ребята,
Румяные от беготни.
Мы тоже были когда-то
Таковыми же, как они.

Мы тоже и мокли и зябли,
Вверяя кораблик ручью,
И так же дощатые сабли
Свистели в потешном бою.

Из прутьев и стекол умело
Мы строили маленький дом —
Игру превращали в дело,
Забаву роднили с трудом.

Сменяются люди на свете,
Мелькают события, дни,
А дети — повсюду дети,
И игры у них одни.

Зимою — коньки да салазки,
А летом — футбол, городки.
И просят сказки и ласки
Милые озорники.

Кто скажет, кем будут эти
Проказники и сорванцы?
Сегодня они — лишь дети,
А завтра — жизни творцы.

Когда мы уйдем на отдых,
Они нас заменят везде:
На людных и шумных заводах,
На взрыхленной борозде.

Ткачи, слесаря, инженеры,
С улыбкою вспомнят они
Мечи и щиты из фанеры
И детства далекие дни.

И то, что, как солнца сиянье,
Когда-то растило их:
Дружеское вниманье
И теплую ласку больших.

1947

ШКОЛЬНИКИ

В лиловом предутреннем свете
Мелькает воронье крыло.
Бегут деревенские дети
По вехам еловым в село.

Всю ночь хлопотала метелица.
В сугробах пропала тропа.
Но всё ещё мелется, мелется.
Шурша, снеговая крупа.

Да вьюга ребятам помеха ли?
Смелей подступает рассвет.
Вон розвальни чьи-то проехали.
Извилистый вычертив след.

Пусть небо ненастное мутно,
А северный ветер суров,—
Какое веселое утро
Лучится в глазах школяров!

Как пчелы на пажить за взятком,
Спешат они к школьным дверям —
Склоняться к раскрытым тетрадкам,
К задачникам и букварям.

Какого чудесного смысла,
Манящей какой новизны
Все буквы, картинки и числа
Полны для их свежей весны!

И этой дороги извивы,
Метель и сугробы по грудь —
Нелегкий, а всё же счастливый,
Нелегкий, но радостный путь.

1937

*
**

Прошла пора, когда
Задумчивый русоголовый мальчик
С миндалинами длинных темных глаз,
Едва дыша, смотрел заворуженно
На бабочек порхающих,— казались
Они ему воздушными цветами.
Как тихо он подкрадывался к ним,
Как бережно держал в неплотно сжатых
Ладонях эти странные цветы!
Однажды он увидел на тропинке
Умершего сухого мотылька
И, взяв его за радужные крылья,
Воскликнул грустно: — Бабочка увяла! —
Еще совсем недавно он открыл,
Что всё живое на земле, достигнув
Вершины роста, блекнет, исчезает,
Что маленькие люди постепенно
Становятся большими, а затем
Перестают существовать. О, нет,
Он не желал расстаться с этим миром,
Великим и манящим. — Я хочу
Быть карликом,— сказал однажды он, —
Чтоб вечно жить на свете! —

Милый мальчик,
Ты не остался карликом, ты стал
Высоким, тонким, словно юный тополь.
Ты вырос и душой: всё выше, выше
Восходишь по ступенькам школьных знаний,
И всё смелее, слаще и нежней
Поет твоя отзывчивая скрипка
В нарядном зале Дома пионеров.
И осенью, вернувшись из деревни,

Ты по царапине на раме ширмы
Спешишь узнать, на сколько ты подрос
За дни каникул? Или понял ты,
Почувствовал, что жить на свете — значит
Стремиться ввысь, как травы и деревья,
К пылающему сердцу жизни — солнцу?

1940

*
**

Я знаю, что солнце, веселое солнце,
Сияет во всем, обитает во всех.
Зимой засверкает в алмазном оконце,
Под осень затеплится в рыжем овсе.

Оно переплавилось в колос и волос,
Оно притаилось во всяком из нас.
Оно остриями лучей прокололось
Из карих и серых девических глаз.

Я вижу его над своими путями,
Я с солнцем встаю, я под солнцем живу.
Сливаюсь с лучами, листьями, цветами,
Влюбляюсь в людей и тянусь в синеву.

Когда же дышать и желать перестану,
Меня золотистым засыпят песком,
Но, кажется, я и тогда не устану
Тянуться под солнце упрямым ростком.

1919

ПАЛЕХ

Под сумрачным кровом в суровом быту
Заботливо вынянчил ты красоту

И в мир, освеженный дыханием гроз,
Как радугу, в темных ладонях принес.

Тебе, самоцветной красы колыбель,
Дивятся столицы заморских земель.

И знатные гости из дальних сторон,
Как данники, едут к тебе на поклон.

Ты пахаря пишешь с сохой золотой
И жницу в колосьях пшеницы густой.

Игрою твоих прихотливых затей
В парчу переплавилось лыко лаптей.

И смиренный Гнедко пред родной бороздой
Гордится богатой шлеей и уздой.

Твоей изощренной прилежной рукой
Невидимо водит художник другой.

Тот славный художник — советский народ,
Что новую жизнь на Руси создает.

Его мастерская — шестая земли
Сады на картине его расцвели.

В пустынных краях вознеслись города.
Свет молний помчали в село провода.

И пыл вдохновенной работы его
Сливается с пылом труда твоего.

Недаром на пашню, на пот пролитой
Ты кисточкой сводишь венец золотой.

Недаром колосья и волосы жниц
Пылятся лучами рублевских божниц.

В тех жарких лучах, в их горячей пыли
Тобой утверждается правда земли —

Величие маленьких жизней и дел
И право людей на счастливый удел.

1933

ХУДОЖНИКИ

Слыли когда-то они богомазами.
Та миновала пора.
В домиках сельских под старыми вязами
Тихо живут мастера.

Мчится ль по улице вьюжная конница,
Блещут ли летние дни, —
Самозабвенно к столам своим клонятся
В комнатах белых они.

В блюдах разбитых растворено золото,
Разведено серебро.
В чашках игрушечных, в ложках расколотых
Светятся краски пестро.

Тонкая кисть осторожно касается
Маленькой черной доски —
И по квадрату ее разбегаются
Волн, облаков завитки.

Борется с бурей корабль белопарусный,
Быстрые чайки летят.
Битва взвивается вьюгою яростной,
Стрелы и копыя блестят.

Песни с преданьями, с мудрыми сказками,
Будней и праздников круг —
Всё одевается свежими красками,
Как расцветающий луг.

Палех, народного моря жемчужина,
Холуй, село-самоцвет,
Капли стихии, что громом разбужена
Незабываемых лет!

Радуга красок, коробочки мстёрские,
Теплый отсвет старины!
Страны далекие, страны заморские
В вашу красу влюблены.

Пусть же по краскам доски лакированной,
По переливам ларца
Будет разгадывать взор очарованный
Душу народа-творца!

1983

ЛУКОМОРЬЕ

Палешанину
Д. Н. Буторину

Надев измятую фуражку,
Идешь задворками к реке.
Пальто и сердце — нараспашку,
Ведро с удочкой в руке.

Ты сядешь под ольхой прибрежной,
Где тень от листьев так сладка,
И остановишь взгляд прилежный
На желтой пробке поплавка.

Луга туманом обольются,
Засвищут косы по траве.
Куском фаянсового блюда
Луна проступит в синеве.

Пройдут с покоса палешане,
Прогонят стадо пастухи —
И к берегам реки в тумане
Подступят сказки и стихи.

Под лунной тонкой паутиной,
Заткавшей тихие плеса,
Всё будет чудиться за тиной
Большая пышная коса.

И Люлех струйкой среброзвонной
Вздохнет, как стрункой, под кустом:
«У лукоморья — дуб зеленый,
Златая цепь — на дубе том»...

Сгорят за днями дни. И сказки,
Что колыхались над рекой,
Ты, мастер, в золото и краски
Оденешь колдовской рукой.

Прибой о берег волны вспенит,
Русалка выплывет из вод,
Ученый кот очки наденет
И речь под дубом поведет.

Но кто поймет, что в этих дивах
Заговорившего холста —
Родных полей, туманов сивых
Сквозит и дышит красота?

Кто в дубе сказочном узнает
Тень от ольхи на берегу,
А в лукоморьи угадает
Крутую Люлеха дугу?

1935

ЦВЕТЫ

„Наберу разных полевых цветов и пишу картинку... На первый взгляд у меня получается букет цветов, а когда взглядишься — тут бой или пулянка“.

И. Голиков — «Сквозь бури эпохи»

Толпой видений обуян,
Шагал он среди цветов несметных —
Художник Голиков Иван,
Создатель вихрей пышноцветных.

Сухой, с колючками усов,
Горячим удивленным взором
Смотрел он в сизый дым лесов
Над разбежавшимся простором.

Срывал смолистую дрему,
Сбирал пунцовые гвоздики —
И всё мерещились ему
Далекой битвы гул и крики.

Тот век не прошумит опять,
То время накрепко забыто,
Когда ржанных раздолий гладь
Топтали хищные копыта.

Вдыхая нив зажженных гарь,
Пугливо мчались кони в сечу.
С веселой яростью дикарь
Стремил копьё врагу навстречу.

Всё миновало. И в местах,
Где силу истребляла сила,
На истлевающих костях
Земля свои цветы взрастила.

Корнями трав обвит булат,
Товарищ грозного разгула,
А позолота праздных лат
На одуванчиках блеснула.

И, верно, из людских сердец,
Пронзенных в страшном поединке,
Возносит кашка свой венец,
Гвоздика — лепестков кровинки.

Кругом — покой. И ни одно
Над полем зарево не взвито.
Тот век прошел давным-давно,
То время накрепко забыто.

Но человек с пучком цветов,
В руке коричневой зажатых,
Так ясно видел строй щитов
И слышал пенье стрел пернатых.

И в краски светлых летних сил,
В красу июньского цветенья
Он прихотливо нарядил
В мечте возникшие виденья.

О, вихрь цветов! Татарский щит
Круглится венчиком ромашки.
Созревшим колосом блестит
Клинок, не знающий промашки.

Соцветьем яркого венка
Пылают вздыбленные кони,
Один — синее василька,
Другой — как лютик на прогоне.

И лучезарный ореол
Июньской неги и покоя
Под вещей кистью перецвел
В кипучий смерч степного боя.

1988

О СЫНЕ

ЗА ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ

Он спит в могиле братской на чужбине,
Не долюбив, не домечтав, вдали
От сердца той, чью боль и скорбь о сыне
Изгладить годы не могли.

А над землей опять нависли тучи,
И вновь тревогой матери полны:
Еще так близки — вой сирен тягучий
И расставанья на путях войны.

И скорбь о сыне ей велит бороться
За жизнь детей, за юности весну.
Из материнской груди гневно рвется
Проклятье тем, кто делает войну.

Пусть матери дадут друг другу руки,
Чтоб оградить оградой живой
Своих детей от роковой разлуки,
От холода могилы фронтовой;

Чтобы тяжелым тучам мирной сини
Зловещей тьмой вовек не закрывать
И черной вести о любимом сыне
С полей войны не получала мать.

1952

НЕЗАБВЕННОЕ

Е. К. Семеновой

На фронте, в сугробах Смоленщины,
Ему привелось умирать.
Хорошая русская женщина
Склонялась к нему, как мать.

Ей горе слезою непрошенной
Бессонный туманило взгляд.
Лежал он, как цветик подкошенный,
Неведомый мальчик-солдат.

Не раненый, не контуженный
Палящей волной огневой —
Попал он смертельно-простуженный
К ней в госпиталь полевой.

Спасти его было уж нечем,
И кто бы тут мог помочь?
Нездешней печатью отмечен
Он был среди живых в эту ночь.

Дышал он почти до рассвета.
Сидела она грустя,
И всё ей казалось, что это
Страдает ее дитя.

И бережно очи закрыла
Она ему тонкой рукой,
А утром его проводила
В дорогу на вечный покой.

И близким его написала,
И в сердце своем нашла,
Врачуя их боль, немало
Участия, ласки, тепла.

И лучше ее, роднее
С тех пор у них нет никого.
Им видится рядом с нею
Любимый облик его.

МАТЬ СОЛДАТСКАЯ

Всю любовь ты отдавала сыну,
Им одним дышала и жила.
В трудную годину
Сына ты отчизне отдала.

Вещим сердцем вдаль к нему летела,
В незнакомый край, в военный стан.
Оградить свое дитя хотела
От лишений, от невзгод и ран.

И когда тебя, как нож, пронзила
Траурная весть,
Где нашла ты силу
Горе перенести?

Как пережила ты
Ночи одинокие, когда
Сердцу сквозь отчаянье утраты
Не светила ни одна звезда?

Не спала ты — думала о сыне,
Был не смят подушек снеговой сугроб.
Чудилось тебе, что посредине
Мглистой комнаты белеет гроб.

Тихие таинственные звуки
Наполняли опочивший дом.
Виделись тебе худые руки,
Сложенные на груди крестом.

Видела ты мальчика в шинели,
Братскую могилу... Далеко она!
Медленно синели
Щели затемненного окна.

Все смелее лил лучей потоки
Мартовский рассвет.
Ты читала милых писем строки,
Без конца смотрела на портрет.

Сутками к еде не прикасалась,
Утешенья не было нигде.
Только снова, снова ужасалась
Ты своей беде.

Не убила страшная невзгода
Сил души взволнованной твоей.
Стойкая видна в тебе порода
Терпеливых русских матерей.

Всё перенесла ты.
Знала ты, что жить еще должна,
Что под крестной ношею утраты
Никнешь не одна.

Где лекарство для души скорбящей?
Пусть трудом овеванные дни
Принесут покой тебе бодрящий,
Пусть смягчат печаль твою они.

Хорошо над грядками склоняться,
Молодые пестуя ростки.
Хорошо щекою прижиматься
Хоть к котенку в черный час тоски.

Ты иметь ребенка уж не чаешь,
Но, быть может, радость обрета,
На дорогах жизни повстречаешь
Матери лишенное дитя.

И лучами ласки
Ты согреешь детство сироты.
Снова вспомнишь песенки и сказки,
Что, бывало, складывала ты.

Добротой и нежностью богаты
Для любви раскрытые сердца.
Матерью была ты,
Матерью и будешь до конца.

Перекличка писем в край из края,
Страх, надежды — всё оборвалось.
Лишь осталась нам перевитая
Синей лентой прядь его волос.

Не звучать осиротевшей скрипке
В милых гибких и худых руках,
Не сиять застенчивой улыбке
На невинных молодых устах.

Но не надо нам тоской томиться
И хранить в глазах ее печать,
Светлыми любил он наши лица,
Не велел в разлуке нам скучать.

Был и он в суровых буднях светел —
Юный воин с любящей душой.
Мужественно грозный час он встретил,
Совершая подвиг боевой.

Он всегда и всюду будет с нами,
И всегда везде мы будем с ним.
Он придет с изменчивыми снами,
Всколыхнет воспоминаний дым.

Смутны сны, воспоминанья зыбки,
Но всегда нас будут озарять
Тихие лучи его улыбки
И волос рассыпчатая прядь.

1945

**

Состарилось лето. Лежит на припёке,
Лежит на пригорке у тына.
Обрюзгли цыганские смуглые щеки,
А в жестких кудрях — паутина.
Состарилось лето. И больше не надо
Ни песен, ни страстных томлений:
Уж ходит за тыном пора звездопада
И звонкой прохлады осенней.

Брусника-грустника под синей осинной
Давно уж успела налиться.
Кленовый листок на поляну гусиной
Отрубленной лапой ложится.
И скоро под утро колючая проседь
В траве забелеет осенней.
Состарилось лето. А сердце всё просит
И песен, и гроз, и волнений.

1932

МИР — ХОРОШ

Потоплю глаза в густой лазури.
Мир — хорош. Душа весны — синя.
Русые свои ресницы жмуря,
Солнце загляделось на меня.

Я богат и грустью и весельем,
Да и все-то нынче — богачи.
На берёзе виснут ожерельем
Черные пузатые грачи.

Ни на чем не сыщешь зимней хмури.
Горячо дрожат ресницы дня.
Потоплю глаза в густой лазури.
Мир — хорош. Душа весны — синя.

1918

*
*
*

Стоит жить на белом свете, —
Мир, воистину, хорош.
Синь тиха, подпасок-ветер
В перелески гонит рожь.

Залетит в кустарник частый,
В паутинный холодок,
И с берёзки голенастой
Рвет истрепанный платок.

Я шатаюсь у опушек,
Музу светлую зову,
С грустью слушаю кукушек
Заунывную молву.

Милы мне земные шири.
Стоит жить! И жить затем,
Чтобы счастье в этом мире,
Как весна, пришло ко всем.

1926

*
**

О, грустный покой повечерья!
Темны дорогие места,
И падают, падают перья
С отрепанных крыльев куста.

По мокрой земле без дороги
Забывтое прясло бредет.
Споткнется на старые ноги
И, где привелось, упадет.

И вьются ползучие травы,
И брызжут дожди, хороня
Жердей сучковатых суставы —
Скелет полевого коня.

Скучна ты, ненастная осень,
Но сердце к тебе прижилось.
Как небо свинцовая осинь —
К полыни пустынных полос.

Мне больно за рвы, за лощины.
За небо в тяжелом свинце.
Так ранят нам душу морщины
На милом увядшем лице.

И как на лицо в ореоле
Седеющих дымных волос,
С любовью до боли, до слез
Гляжу я на мглистое поле,
На жесткую жниву полос.

1926

*
**

Так тихо, что кажется: вымер
Заклязьменский древний простор.
Как встарь, златовратый Владимир
Глядит с зеленеющих гор.

Тускнеет древесное золото,
Клубится осенняя мгла.
На этих высотах когда-то
Я много оставил тепла.

И нынче пришел я проститься
С туманом той нежной поры.
Далекое время мне снится,
Далеко мне видно с горы.

1923

ЖИМОЛОСТЬ

Высокая и тоненькая жимолость,
Как только листопада дождалась,
Туманами да изморосью вымылась
И в розовые серьги убралась.

Они дрожат, осенним днем расплавлены.
От них сияет каждая лоза.
В их розовое золото кем-то вправлены
Вороньи черные глаза.

1919

*
*
*

Мягкая голубизна рассвета, —
Это сны сгустились над землей.
Чистым снегом улица одета
И повита ласковою мглой.

Закрывают фонари устало
Очи натруженные свои.
Как синё, как тихо в мире стало!
Всё застыло в чутком забытьи.

Снег иль цвет одел деревья пышно?
За окном январь стоит иль май?
Весь в зеленых молниях, неслышно
Проплывает сказочный трамвай.

Ранние прохожие, как тени,
В снежную уходят синеву.
О, пора волшебных навождений,
Смутных сновидений наяву!

Но сереют утренние краски,
Отцветает снежная сирень.
Только миг — и нет волшебной сказки,
В окна входит ясный, трезвый день.

Рушатся сугробы под лопатой,
И глядит несмело с вышины
Диск ущербный, лик голубоватый
Утомленной призрачной луны.

1941

*
**

Поляна, пни, пугливые осинки
Да горькая зеленая трава,
В траве — цветы, как пестрые косынки, —
Не этим ли любовь моя жива?

Прошел пастух, играя на свирели.
Задумчиво пропели голоса.
А травы потемнели, посырели.
Тиха заря. Звонка, тепла роса.

Дрожат на листьях чистые росинки
Дрожит звезда под берегом реки.
На берегу, как смятые косынки,
Цветочные пестреют островки.

1912



Са̄д
позма





THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



ПРОЛОГ

Пригожи вы, расцветшие поля,
И трогательны красотой непрочной.
Летит на вас, морозами паля,
Железный ветер из страны полночной.
Какой тебя, продрогшая земля,
Согреть весной неслыханной, бессрочной?
Мы пылом человеческим своим
Тебя согреем и обогатим.

Долга зима на севере. Полгода
Лежат снега и голубые льды.
Коротким летом скудная природа
Вынашивает скудные плоды.
Обманчива весенняя погода.
Тепло и тишь. Но берегись беды:
Дохнул мороз, — и лепестки метели
На лепестки черемух полетели.

Дохнул мороз, — и гибнут лепестки,
Дохнул мертвящим веяньем невзгоды, —
И чахнут неокрепшие ростки,
И погибают молодые всходы.
Скупа земля на севере: пески
С суглинками. Нет правды у природы!
Всегда, всегда была обделена
Ее дарами наша сторона.

Природа, в ярком хаосе творенья
Увлечена пристрастием слепым,

В основу поэмы положена биография ивановского садовода-мичуринца Ф. А. Самцова, талантливого изобретателя посадочного стакана и посадочной машины (умер в 1931 г.).

Весь гений свой, всю силу вдохновенья
Ты отдала тем странам голубым,
Где только нежит ветра дуновенье,
Где сад не знает наших лютых зим.
Там черной почвы могучные недра
Плодов богатство рассыпают щедро.

Пустыню сделать садом! Залучить
В страну морозов южные побеги!
Пусть не боятся снега! Приручить
Балованных детей полдневной неги,
К чужой и жесткой почве приучить
И к вашим стужам, вешние ночлеги,
Когда земля звонка, когда она
Вся инеем крутым посолена!

И в тех местах, где с визгом мчится вьюга,
Где космами она поля метет,
Наклонятся сады под ношей юга,
Переселенцем Крым сюда придет.
Бессмертен подвиг, велика заслуга
В снега продвинуть юг. И счастлив тот,
Чья маленькая жизнь дотла сгорела
На праздничном костре большого дела!

И вот Самцов, любитель-садовод,
Как в поисках таинственного клада,
Прилежно роет землю каждый год,
Воспитывает лозы винограда, —
И прежний захудалый огород
Шумит ветвями молодого сада.
Шумит у стен фабричных в дымной мгле
На северной, на пепельной земле.

Весной в саду стоит веселый шопот.
Кусты — в соку и ветки их — в цвету.
Успех не сразу и не даром добыт,
Достался он в бессонницах, в поту.
Самцов искал, накапливая опыт,
Читал, избрав любимой книгой ту,
Листы которой — это листья лета
И лепестки весеннего расцвета.

Он шел враждебным силам вопреки
И обуздал стихий противоборство.

Перед искусством опытной руки
Сломилось глины скаредной упорство.
Как мотыльки, трепещут лепестки,
Взлелеянные грудью почвы черствой.
Усилиями труда пробуждена,
Счастливой стала матерью она.

И кто попал в зеленый сад Самцова,
Тому все время кажется, что здесь,
Где лето кратко, а зима сурова,
Какое-то второе солнце есть.
Иначе как бы майская обнова
Могла на этих южных ветках цвести?
То человека творческая сила
Бутоны их согрела и раскрыла.

Немолод он, искусный садовод,
Носитель этой силы животворной.
Морщин дорожки. Крепко сжатый рот,
Примета воли твердой и упорной.
Вот он кривой садовый нож берет
Рукой широкой, от загара черной.
Но в сад приходят люди: — Допусти
Полюбоваться на твои кусты! —

И Федор Аникеич без отказа
Ведет гостей среди терновых бус.
Котенок смотрит со скамьи вполглаза.
Готов взорваться вызревший арбуз.
— Вон там цветы из Крыма, с гор Кавказа.
Тут — виноград. И вид неплох и вкус.
Растет спартанцем: не в тепличной доле,
Зимой и летом все на вольной воле.—

Как ягоды черемух и рябин,
Здесь фиолетовая зреет слива.
Поражены пришельцы. Вот один
Снял свой картуз. Бела густая грива.
Глядите все: он дожил до седин,
А не видал нигде такого дива.
— Скажи, сынок, скажи, не потаи,
Как ты посадки вырастил свои? —

Самцов глядит спокойно и открыто.
Лукавить он не ловок, не горазд.

Да, чем победа жизни здесь добыта?
Сейчас он им ответ правдивый даст.
Вот тут, в земле, его любовь зарыта,
Его душа легла под этот пласт.
Она трепещет бабочкой цветочной
И в руки грушей отдается сочной.

Его худое темное лицо
Похорошело. Жесткая прохлада
Сквозное обнимает деревцо
Сжигающим дыханьем листопада.
Садятся перед садом на крыльцо.
Ядрен и густ осенний запах сада.
А солнце грузным вызревшим плодом
Тихонько никнет за соседний дом.

Чуть внятно шепчет сад—родоначальник
Других таких же, как и он, садов,
Таких же, как и он, необычайных
В глухом краю снегов и холодов.
Он шелестит, что средь полей печальных
Рассыплются сокровища плодов,
И север неприветливый, холодный
Страную обернется плодородной.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Запавшие глаза. Рубец над бровью.
В усах застрял залетный ветерок.
Красноармейский шлем запятнан кровью.
На сапоги налипла грязь дорог.
Входи смелее под родную кровлю,
Перешагнув истоптанный порог!
Он — позади, путь боевых скитаний,
Путь подвигов и грозных испытаний.

Целуй детей. Снимай свою шинель
В ответ на их растерянные взгляды.
Прислушивайся к мирной тишине
(А как ревели, как рвались снаряды!).
Взгляни в окно на светлую синель
Небес промытых. Посмотри, как рады
Теплыни золотистой воробьи.
Ты — жив. Земля и солнце вновь твои.

Забытым, милым обступали стены.
Как чей-то глаз, округлился каждый сук.
В пылу хлопот у бабки Аграфены
Всё из куриных выпадало рук.
Пропел гудок, пришла жена со смены,
В глазах светился радостный испуг,
А на виске, неясно проступая,
Дрожала-билась жилка голубая.

Казалась вкусной скудная еда:
Картошка да колючий хлеб пайковый.
Гражданских битв великая страда
Во имя утвержденья правды новой,
Твой грубый хлеб и голая вода
Несли железо бодрости здоровой
И жизнь, и силу, и огонь несли
В густую кровь людей родной земли.

Тогда картофель с поля к горожанам
Шел на дворы, в проулки, в тупики.
Вдоль мостовых раскидывались станом
Его отряды, прятась в боровки,
Чтобы сентябрьским утром златотканым
Мы урожай могли собрать в мешки.
В те трудные, в те памятные годы
Повсюду разводили огороды.

Как жизнь под вешним солнцем хороша!
Как ветерок похож на чью-то ласку!
Шел Федор Аникенч, не спеша,
По своему зеленому участку,
Шел, сапогом травинки вороша,
Небритый, загорелый, враспояску,
И слушал, как грохочет за двором
Небесная телега — первый гром.

И, поплевав на черствые ладони,
Он сапогом на заступ наступал.
Сгибался, будто в истовом поклоне,
И выпрямлялся. Целину копал!
Ходили куры по гряде в погоне
За скользкими червями. Прилипал
К спине горячей ситец обветшалый,
К сырому лбу — шлем со звездой алой.

Светились одуванчики в траве,
Светились солнцем, пчелами и мёдом.
Плыл зыбкий пух в прозрачной синеве
Над взрыхленным, над черным огородом.
Почувствовать себя с землей в родстве
И помогать её могучим родам,
Праматери всех в мире матерей,
Что в дни весны прекрасней и мудрей?

Готовил сруб. Копал канавы, ямы.
И там, где куст сиреневый поник,
Две покосившихся оконных рамы
Образовали маленький парник.
Здесь помидоры встанут, крепки, прямы,
Тут разместится племя земляник,
А там капуста с луком и морковью
Нальются земляной здоровой кровью.

Его душа летела к тем годам,
Когда, босой, вихрастый и счастливый,
По черноморским лазил он садам
И рвал штаны о сучья старой сливы.
Потом он вырос, жил по городам,
Где серый дым прядет свои извивы,—
И всё смутней, всё реже в том дыму
Сады родные виделись ему.

Но в эту пору, брызжущую цветом,
Так ясно он увидел те сады:
Весной на них висели пчелы, летом —
Оправленные в золото плоды,—
Прозрачные, пронизанные светом
Тела из солнца, меда и воды.
— Когда б их почкам и тугим бутонам
Раскрыться здесь, расцвести в краю студеном!

То было в детстве. Яблочный базар.
В тени навесов — ящики, плетушки.
Земли осенней материнский дар,
Плоды легли меж лука и петрушки.
Как он любил их палевый загар,
Их родинки, прожилки и веснушки,
Как радовался им,— и теплый свет
Той радости донес до поздних лет.

Есть в яблоках и в гроздьях винограда,
В смородине и в нежной плоти слив
Этой летних дней, ночной росы прохлада,—
Всё, что растило плод и шло в налив.
Они приходят к нам, питомцы сада,
Чтоб, сок целебный в кровь людскую влив,
С ним на года прибавить человеку
Румяного здоровья, силы, веку.

Качал цветок тяжелого шмеля.
Росла трава. Играли дети в прятки.
Свежо чернела взрытая земля.
Пришла жена. Обделывала грядки.
Подкрадывался ветер, шевеля
Ее волос рассыпчатые прядки,
Подкрадывалось солнце, щекоча
Ее глаза соломинкой луча.

Кто видел смерть, кого она задела
Концом неотразимого крыла,
Тот землю будет чувствовать, как тело,
Тому весна, как молодость, мила.
И сердце у Самцова молодело
От воздуха хмельного и тепла.
От щебета, жужжанья и гуденья —
От всепобедной вести возрожденья.

— Кончай работу! Ужин — на столе! —
С крылечка дочь Тамара звонко пела.
Черемухой кудрявой в теплой мгле
Ее простое платье белело.
— Сейчас иду! —

Есть радость на земле
Смотреть, как нежно, празднично и смело
Твоя давно отцветшая весна
В цветах другой весны повторена.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Страны прекрасной маленький Колумб,
Что волей человеческой творима,
Он хлопотал у гряд своих и клумб,
У колыбели выселенцев Крыма.

Когда весною в лужи возле тумб
Мороз гляделся, — одеялом дыма
Цветочную он кутал детвору,
Чтобы она не вымерзла к утру.

От ручек тачки, груженной навозом,
Налет стеклянный на ладони лег.
Вдвоем с женой с утра склонялись к розам,
Лелеяли лимонный стебелек,
Несли напиток виноградным лозам,
Но всё, как прежде, был успех далек.
Свинья соседа клумбы рылом рыла,
Роса дурная жестью завязь крыла.

В вечерний час Самцов в раздумьи брел
Голубоватым лунным тротуаром.
Да, труд его бесплоден и тяжел,
Но что, когда и где давалось даром?
Опять он в сердце мужество обрел
И, раскрывая чувства майским чарам,
Окутанный прозрачной темнотой,
Позабывался сладко за мечтой.

Он знал, что летом городскому люду
Невозмогу от зноя, что лучи
Без милости накаливают грудь
Домов и фабрик. Жарко, как в печи.
Цветку среди булыжников, как чуду,
Весной дивятся радостно ткачи,
Но лепестки цветка от пыли серы,
В пыли бульвары, садики и скверы.

И чудился Самцову город-сад,
Весь в изумрудных листовых монистах, —
Венки аллея вокруг заводских громад,
Прохлада парков свежих и тенистых.
Десятки рук заботливо взрастят
Семью цветов на мостовых кремнистых,
Рассыпав астр и лилий семена, —
И обновятся улиц имена.

И юноша пошлет письмо невесте
По адресу: «Сиреневый район.
Дом номер десять в Розовом проезде» —
Благоуханьем звуков опьянен.

«Поселок Лип... Садовое предместье», —
Певуче прочитает почтальон:
«Березовая... улица Пионов...
Сосновая слободка... площадь Кленов»...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

До глаз колючим инеем зарос
Декабрьский вечер. Дети жмутся зябко
К лежанке теплой. Загремел поднос,
Звенит посуда, — чай готовит бабка.
— Куда ты, Федя, в этакий мороз?
— Мне холод не помеха. Где же шапка?
— Да вот она. Куда ж идешь-то? — В Дом
Крестьянина. — А как же чай? — Потом.

Удержит ли сердитая погода,
Коль он беседу должен провести?
У сельского заезжего народа
Его простые лекции в чести.
Свои познания, опыт садовода
Хотел бы он повсюду разнести,
Как шмель мохнатый с тоненьких тычинок
Разносит золото живых пылинок.

Гармоникой примятый снег визжит
Под валенками с вычурным разводом.
И студено же! Пешеход бежит, —
И тешится мороз над пешеходом.
Звезда-слезинка над зарей дрожит.
Но вот и Дом крестьянина. Пред входом
Над торбами с овсом понуро в ряд,
Пушисты, седы, лошади стоят.

Полями пахнут пиджаки и платья,
Пыльна бородок и бровей костра.
Как деревянные, рукопожатья,
А кожа рук — древесная кора.
— Опять хочу про сад потолковать я.
— Тебя мы рады слушать до утра.
Твои слова у нас по всем усадям
Зашелестят зеленотемным садом. —

В большой высокой комнате права
Взяла зима (заведующий Домом
Крестьянина скупился на дрова),
Но тетке Домне с дедушкой Пахомом
Мерещится ожившая трава,
Весна с берёзкой, с круглым гулким громом
И радугой: какое-то тепло
На слушателей от Самцова шло.

Он говорит о почвах огорода,
О том, как сад хороший развести,
О винограде — новая порода,
Свободно может и у нас расти.
Он хочет, чтоб у сельского народа
Глухой пустырь стал вишнями цвести,
И, споря с недоверьем, с темнотою,
Он зажигает всех своей мечтою.

Он — не колдун, Самцов, не чародей.
В нем лишь дрожат того огня отсветы,
Что делает и маленьких людей
Великими. Тот луч найдешь в себе ты,
Им теплятся на родине моей
Людские души, будто самоцветы,
И о лице, что им освещено,
Мы говорим: — Как хорошо оно!

Он — человек, навеки одержимый
Мечтой соткать земле такой наряд,
Какой дарят лишь девушке любимой,
В придачу к сердцу трепетно дарят.
Украсить край, метелями гонимый,
Тот край, где льды так холодно горят.
Согреть его, как греют руки милой
В промозглый вечер осени унылой.

Нет, не напрасен этот страстный жар
Упорных человеческих стремлений —
Согреть земли обледенелый шар,
Зажечь его для розовых цветений!
И что еще прекрасней в нас, чем дар
Лучиться силой творческой весенней
И оживлять бесплодные пески,
И раскрывать на ветках лепестки?

Отдать весь пыл, всю кровь, какая в теле,
Ветвясь, бежит по тысяче ходов,
За жизнь в цвѣту, за пьяные метели
Косматых белорозовых садов,
За то, чтоб люди счастьем богатели,
Земля — обильем солнечных плодов,—
О, только так и стоит жить на этой
Планете, мглой и холодом одетой!

Я поднимаю голос за цветы
В саду, на сквере, в корпусе завода,
За ягодные гряды и кусты,
За инженера фруктов — садовода,
За то, чтоб снять проклятье нищеты
С нив, истомленных хворью недорода.
Я голосую думам века в лад
За счастье всех, за новой жизни сад!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Как мельница, метелица пылит,
Пылит снежком на кровли и ворота.
Белесый мрак над улицей разлит.
Неслышно ходит по домам дремота.
Лишь у Самцова в окнах чуть сквозит
Неяркого сиянья позолота.
И через стекла, убранные льдом,
Метелица заглядывает в дом.

Он поседел, заиндевел от стужи.
Хозяйка шьет, но всё скользит шитье
Из тонких пальцев. Ей сегодня хуже.
Какой-то жар томит и жжет ее.
Она о детях думает, о муже.
Вон, погруженный в полузабытье,
Он опустил на книжные страницы
Недлинные спокойные ресницы.

Живет он в мире странном и чужом:
То книги по механике читает,
То за полночь сидит за чертежом,—
Посадочный станок изобретает.

Седой январь щетинится ежом,
А он твердит: — Как только снег растает,
Похорошеет наша жизнь: в саду
Я опыты с рассадой проведу. —

Любовь и вера, вы живете рядом.
Ее любовь попрежнему тепла.
О, если бы, и вправду, вместе с садом
Их доля вешней вишней расцвела! —
Она смотрела вдаль туманным взглядом,
Потом к постели тихо подошла.
Ребята крепко спали. Полночь било.
Пора, пора и ей ложиться было.

Пылит и вьет за окнами кура.
Мерцают стекол ледяные слитки.
Высокая пуховая гора
Щеколду придавила у калитки.
Склонившись возле снежного бугра,
Увязывает ночь свои пожитки.
Час голубого утра недалек,
А Федор Аникеич всё не лег.

Всё чертит он машину плодородья.
Ей суждено по вешнему пути
В стаканчиках на сельские уголья
Рассаду скороспелую нести.
Конец господству тощего бесплодия!
Теперь и там всё примется цвести,
Где по весне буран белобородый
Мертвит сады и губит огороды.

Негромко дышат дети. Спит жена.
Рука прозрачна. В складке губ — усталость.
Как мужественно делит с ним она
И труд и всё, что им в удел досталось!
Но трудная дорога пройдена.
Еще немного подождать осталось —
И над страдой усилий, наконец,
Блеснет успеха радужный венец.

Он складывает свой чертеж. Светает.
Метель утихла. Около ворот
Белеет ворох снега. Сумрак тает.
Победно утро по земле идет.

Как гостя, человек его встречает,
На новый подвиг новый день зовет.
И счастлив тот, чья жизнь дотла сгорела
На праздничном костре большого дела.

Пригожи вы, расцветшие поля,
И трогательны красотой непрочной,
Летит на вас, метелями пыля,
Железный ветер из страны полночной.
Как ласточку во вьюгу, как шмеля,
Застывшего у завязи цветочной,
Дыханьем жизни, всем теплом своим
Мы отогреем землю, обновим.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Весной узнал он торжество победы.
Москва. Большой научный институт.
Ужель, и вправду, миновали беды?
Поверишь в это, побывавши тут.
«Колумбовым яйцом» машиноведы
Стаканчик пересадочный зовут.
Да, не пропали страстные усилья:
Она придет, година изобилья!

Сквозь дебри равнодушья, сквозь вражду,
Как дровосек сквозь груды бурелома,
Его труду, заветному труду
Прокладывает путь рука наркома.
Чернеют ветки в липовом саду.
Гудит, как улей, зал большого дома.
Прозрачный вечер. В окна бьет закат.
— Ну, Федор Аникеич, ваш доклад!

— Товарищи! (Как будто через воду,
Он видит лица, лозунга ручей.
Немало в зале собралось народу:
Ученых, именитых москвичей.
Ему перед таким собраньем сроду
Не приходилось говорить речей.)
— Товарищи, моя машина — это
Предвестница могучего расцвета.

Она пройдет полями по весне
И проторит дорогу к урожаю.
Цвести цветам в холодной стороне,
И быть с плодами северному краю! —
Молчанье. Вечер. Зайчик на стене.
И вдруг... как будто кто-то поднял стаю
Тяжелых белых голубей: вокруг —
Немолчный, долгий плеск и трепет рук.

О, нет, не зря под шум возни мышиною,
Изобретатель и природовед,
Дневных забот рой отогнав мушиный,
Виденьями грядущего согрет,
Он по ночам работал над машиной,
Трудом встречал задумчивый рассвет
С цветами на сучках березы пегой
И утреннего сна последней негой.

Тот жил не даром, от чьего тепла
Кругом теплее стало хоть на градус,
Земля хотя на волос отошла
И внешней веткой распустилась радость.
Плодами падают его дела.
Они в себе несут ему награду.
И всех богаче в этом мире тот,
Кто смело сердце жизни отдает.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Сугробом пахнет от арбуза. Густо
Его нутро пурпурное горит.
— Ивановский, а как созрел... до хруста! —
Захожий гость с восторгом говорит.
Синеет небо холодно и пусто.
Самцов пришельцам семена дарит
И раздает садовые отводки:
— Несите их в колхозы и слободки! —

Глядит из сада осень. Студена,
Седа земля в те кованые ночи,
Когда зеленоватая луна
Ее сияньем призрачным морочит.

Теперь в лесу такая тишина,
Что ты идешь — и шаг почти грохочет.
А легкий вздох упавшего листка
Вся роща слышит. Да, зима близка.

И скоро тын осядет в пух сугроба,
Кудлатый дым повалит из печей.
Бездомных птиц неистовством озноба
Прохватит стужа месячных ночей.
Под звонкой крышкой ледяного гроба
Уснет, притихнет говорун-ручей,
И затаится жизнь в корнях растений,
В стволах деревьев до поры весенней.

Но не замерзнет закаленный сад.
Его семья стойка, жизнелюбива.
Здоровых, крупных вырастят ребят
Мать-яблоня и северная слива.
Коричневые зерна засквозят
За янтарем прозрачного налива,
Чтобы взойти в холодной стороне
На пустыре замшелом, на гумне.

Осенний сад оранжев и ажурен.
Цветник зари над городом пунцов.
Он трубами высокими окурен.
На сад зари, на дым глядит Самцов.
Он отдыхает,— северный Мичурин,
Один из тех бесчисленных творцов,
Чьи руки там и здесь в моей отчизне
Выращивают сад цветущей жизни.

Да, и его с другими наравне
Волна, весь мир качавшая, носила.
Он — свой для тех, в ком, как огонь в кремне,
Таится обновляющая сила.
Все, что ни есть прекрасного в стране,
Их труд воздвиг, их воля сотворила.
Хозяева полей, заводов, рек,
Они — один могучий Человек.

Проходят годы. Люди умирают,
А Человек бессмертен. Он во льдах,

В песках пустынь упорно пролагает
Свои пути,— и на его следах
Цветы цветут, колосья вырастают,
Сады в тяжелых клонятся плодах,
И яблоком среди туманов млечных
Летит земля в саду созвездий вечных.

1933—1934



Слово
о полку Игореве



Перевод в стихах

ЗАПЕВ

Не начать ли нам складом ратных повестей ныне
Песнь об Игоре, братья, и храброй дружине?
А начать нам ту песню по делам современным,
Не стремясь за Бояном, певцом вдохновенным.

Ведь Боян, если славить кого собирался,—
Мыслью-белкой по дебрям лесным расстился:
Он по чистому полю рыскал серой волчицей,
Возносился к подоблачью сизой орлицей.

(Говорил: вспоминает стародавние битвы.)
Напускал он тогда для удалой ловитвы
Десять соколов в стаю лебедей; за какою
Белой лебедью сокол бросался стрелою,

Та вперед и певала сладкозвучную славу
Ярославу ли старцу, храбрецу ли Мстиславу,
Что зарезал Редедю у касожского стану,
Иль пригожему сыну Святослава, Роману.

Но не соколов в стаю лебединую, други,
Напускал песнотворец,— он вещице руки
Клал на струны живые, а они под перстами
Рокотали князьям славу громкую сами.

ПОХОД

Начнем же, братья, слагать эту повесть
От Владимира старого и до нынешних дней —
До Игоря-князя, что, на подвиг готовясь,
Ум стянул-опоясал крепкой силой своей,

Изострил сердце мужеством, духа ратного полон,
И повел удалые полки за собой.
В Половецкую землю отважных повел он
За Русскую землю на бой.

*
**

Глянул Игорь на солнце и видит: светило
Не сиянием теплых лучей —
Темнотою всё войско его осенило,
И сказал он дружине своей:

— О, братья-дружина! Не лучше ли в сече
Быть убитым, чем дань в полон?
Так скорей — на коней, и поскачем далече,
И посмотрим на синий мы Дон!

Разум Игорев пылкая страсть полонила.
Жажда Дона отведать ему
В мыслях вещего знаменья тьму заслонила,
Небесную грозную тьму.

— Хочу на краю половецкой пустыни, —
Вновь сказал он, — копьё преломить.
Либо голову с вами сложить на чужбине,
Либо Дона шеломом испить.

О, Боян, соловей старины, песнопевец!
Кабы ты рокотал нам об этих полках, —
Соловьём рассыпаясь на мысленном древе,
Летая умом в облаках,

Свил бы в славе два века! Бояновым следом
По полям да горам полетев,
Ладя песню об Игоре, внуку за дедом
Так бы складывать надо запев:

«То не буря несёт над пустынею дикой
Стаю соколов вдаль от родного гнезда,
То, знать, галки на Дон спешают великий.
Собираясь в большие стада».

Внук Велесов! А, может, запевкой такою
Эту песню начать надлежит:
«Кони борзые ржут за Сулою-рекою,
В стольном Киеве слава звенит».

**

Трубы звонкие трубят в стенах Новаграда,
Стяги в светлом Путивле стоят.
Игорь-князь дожидается милого брата.
Вот и Всеволод, Игорев брат.

И сказал буй-тур Всеволод: — Свет мой и слава,
Игорь, отчей земли господин!
Мы ведь оба с тобой сыновья Святослава,
Ты — мой брат, ты и свет мне один.

Брат, седлай-ка своих скакунов быстроходных,
А мои уж готовы к пути:
Ждут у Курска в подпругах и седлах походных,
Рады витязей в битву нести.

А куряне испытаны в доблести ратной, —
Повиты под походной трубой,
Каждый выкормлен с кончика пики булатной,
Под шеломом взлелеян любовью.

Им известны пути и знакомы яруги
На широких просторах степных.
Их колчаны открыты, а луки упруги
И наточены сабли у них.

Сами скачут, как волки, толпой неустанной
По степным, по неторным стезям,
Ищут чести дружине под бурею бранной,
Ищут славы отважным князьям!

**

Игорь в стремя вступает тогда золотое,
Гонит полем коня своего,
Но зловещее солнце густой темнотою
Застилает дорогу его.

Ночь степная грозой на него завывает,
Стоном жалобным птиц разбудив,
Свистом в стаи зверей уstraшенных сбивает,
Дико кличет на дереве Див.

Кличет сверху, беды приближеньем тревожим.
Шлет он весть незнакомой земле —
Голубому Поморью, Корсуню с Сурожем,
Вольной Волге и светлой Суле.

И тебе, истукан дальней Тмуторокани,
Грозно с дерева зыкает он.
Вот уж половцы кинулись в синем тумане
По неторным дорогам на Дон.

В полночь резко скрипят на просторе великом
Вереницы несметных телег.
Скажешь: стая распуганных лебедей с криком
Покидает согретый ночлег.

Игорь к Дону идет, а Беда за отважным
Гонит птиц по дуброве, и волк
Накликает грозу вещим воем протяжным
Из оврага на Игорев полк.

Хриплым клетком зверей собирают орлицы
Пировать на просторе степном.
На щиты на багряные лают лисицы.
Русь, а ты уж давно за холмом!

Меркнет ночь. Свет-заря в тихий сумрак запала.
Закурился туман на полях.
Соловьиного рокота трель задремала.
Говор галок проснулся в кустах.

Дети Руси щитов вереницей багряной
Разделили поля пополам,
Ищут чести себе на равнине туманной,
Ищут славы отважным князьям.

ВСТРЕЧА С ПОЛОВЦАМИ

Спозаранья в Пяток на просторах донецких
Наши витязи в жарком бою
Потоптали поганых полков половецких
Ратный строй по седому былью.

И, стрелами рассеявшись в поле, помчали
Половчанок, красавиц степных,

С ними золота, паволок вволю набрали,
Дорогих аксамитов цветных.

А орниц-покрывал, епанчей с кожухами
Столько было захвачено там,
Что в болотах узорными их ворохами
Путь гатили по топким местам.

Стяг багряный с тяжелой хоругвью белой,
С алой чолкой серебряный дрот —
Их берет Святославич могучий и смелый,
Только их из добычи берет.

Дремлет в поле Олега гнездо удалое.
Залетело далече оно!
Да ни соколу с кречетом было, родное,
Не в обиду оно рождено,

Ни тебе, половчин, черный ворон поганый!
Волком скачет под сумраком Гзак,
И к великому Дону по степи туманной
След ему пролагает Кончак.

РОКОВАЯ СЕЧА

Рано зори кровавые сумрачной шири
Утра свет возвещают — горят.
С моря черные тучи идут на четыре
Красных солнца — прикрыть их хотят.

В черных тучах зловеще трепещут изломы
Синих молний. Великому быть,
Ох, великому грому! Дождю проливному
Всё стрелами калеными лить.

Тут копьё преломиться, мечу притупиться
О степной половецкий шелом,
На придоонских полях, где Каяла струится.
Русь, а ты уж давно за холмом!

Вот и ветры, Стрибожии внуки, стрелами
Веют с моря на русскую рать.
Загудела земля. Прах повис над полями.
Рек степных замутилася гладь.

Плещут стяги. Идет половецкая сила
И от моря и с Дона-реки,
И со всех уж сторон обошла-обступила
С криком, с гиканьем наши полки.

Вражьи дети молвой разделили гортанной
Ширь ковыльную, мчась по полям.
Дети Руси щитов вереницей багряной
Разделили поля пополам.

Яр-тур Всеволод! Вот со своими бойцами
Твердо ты в обороне стоишь.
Прыщешь, будто дождем, на поганых стрелами,
О шеломы мечами гремишь.

Где ни скачешь ты, шлемом светя золоченым,
Вражьи головы пали кругом.
Ярый тур, под булатом твоим закаленным
Расколосся аварский шелом.

Братья, смело презрел он кровавые раны,
Честь и жизнь позабыв для побед,
Град Чернигов, отцовский престол златотканый
И красавицы Глебовны, любви желанной,
Неизменный совет и привет.



Прошла пора Троянских сеч,
Дни Ярослава минули,
Олега Святославича
Полки в боях погинули.
Крамолу тот Олег ковал
Мечами наостренными,
Родную землю осевал
Стрелами оперенными.
Едва в Тмуторокани он
Вступал в золотое стремя, — звон
Того золотого стремени,
Того похода смелого
Уж слышал Ярославов сын,
Великий давний Всеволод.
Владимир же в Чернигове,

Чуть утра свет проглядывал,
С тревогой уши накрепко
Скорей себе закладывал.

Бориса ж Вячеславича
В те годы слава ратная
На суд последний привела —
Под сабли под булатные.
Младому князю храброму
Из-за обиды Ольговой
Она постлала саваном
Ковыль зеленый шелковый.

И Святополк с ковра полей,
Каялою омытого,
Между угорских двух коней
Повез отца убитого, —
Повез его с Каялы той
К Софии киевской святой.

Тогда, при Гориславиче,
Олеге Святославиче,
Лишь смута сеялась, росла,
И жизнь родного племени,
Дажбожьих внуков, начала
Оскудевать без времени.
От распри княжеской лихой
Укоротился век людской.

Тогда так редко на Руси
Покрикивали пахари,
Так часто черны вороны,
Терзая трупы, каркали,
Так часто галки речь вели
Крикливою оравую,
Сговариваясь меж собой
Лететь на снесь кровавую.
То было в те сражения,
В те брани-ополчения,
Но о таком побоище
Не слыхивал никто еще.

От утра и до поры вечерней,
С вечера и до лучей рассветных
Всё летают стаи стрел каленых,
Всё летают стаи стрел несметных.

Треск идет от копий вороненых,
Сабли с громом скачут по шеломам
В самом сердце Половецкой степи,
В поле диком, в поле незнакомом.

Уж черна кругом земля сырая —
Вся она копытами изрыта,
Там и тут засеяна костями,
Там и тут убитыми покрыта.

Алой кровью вся она полита, —
И взошел по Русскому раздолью
Тот посев ужасный вместо жита
Тяжким горем, неизбывной болью.

Что мне шумит,
Что мне звенит
Далече рано пред зорями? Это
Игорь полки поворачивает в бой.
Жаль ведь ему милого брата
Всеволода-света.
Бились,
Рубились
День и другой,
На третий к полдню
В степи у Дона
Пали Игоревы знамена.

Тут над Каялой быстрою
Два брата разлучаются.
Дошло вино кровавое,
И бранный пир кончается.

Уж распоили русичи
Вино хмельное алое
Лихим сватам, и сами там
За Русь легли, удалые.

Поникли травы с жалости,
А дерево с кручиною
К сырой земле сконилось
Зеленою вершиною.

ПЕЧАЛЬНАЯ ГОДИНА

Невеселая, братья, година пришла:
Уж пустыня высокой травой покрыла
Поле боя, где ратная сила легла,
Светоносного внука Дажбожьего сила.

Но витает над нею Обида ее.
Обернулась крылатою девою Обида
И сошла на степное сухое былье,
На Троянову землю, печалью повита.

И за Доном-рекой, над пучиной морской,
Заплескала-забила крылом лебединым
И, плеща, изошла неутешной тоской
По минувшим счастливым годам.

*
**

Губят Русь усобицы княжие.
Кто спасет от ворогов ее?
Спорят братья, вздорят, как чужие:
— То мое и это всё мое! —
С малых слов великий спор заводят
И раздор выковывают злой,
А враги со всех сторон приходят
Для побед над Русскою землей.

О, далече
В край степной зашел.
К синю морю
Птиц гоня, сокол!

Игорев-то полк
Не воскресить.
Вот пошла
Кручина голосить.

Заметалась
Скорбь из веси в весь,
Пепел тризны
Сея там и здесь,

Легкий пепел,
Погребальный прах,
Взвеванный
В пылающих рогах.

Плачут жены русские,
Твердят:
— Уж ни мыслью
Взмыслить милых лад,

Уж ни думой
Сдумать дорогих,
Ни очами
Глянуть нам на них.

А уж златом-серебром
Опять
И подавно
Нам не побряцать!

Стонет, братья, Киев от невзгоды,
А Чернигов — от напасти грозной.
Залила тоска всю Русь, как воды,
Грусть-печаль течет рекою слезной.
А князья куют свои раздоры,
И победно сила кочевая
Русские изрыскала просторы,
Дань — по белке с дома — собирая.

*
**

Так два храбрых, два удалых брата —
Игорь с туром-Всеволодом ярим
Лихо разбудили. Знать, задаром
Это Лихо усыпил когда-то
Святослав, князь киевский могучий.
Устрашая половцев ватаги,
Он примчался в степь грозою-тучей
И полками, полными отваги,

Притоптал их холмы и овраги,
Возмутил их реки и озера,
Иссушил потоки и болота,
А Кобяка, словно вихрь, с налета
Он исторг для плена и позора
Из луки морской, с кочевий диких,
Из полков железных, из великих.
И попал Кобяк на смех-забаву
В стольный Киев, в гридню к Святославу.

Тут и немцы и венецианцы,
А за ними греки и морава
Славословят князя Святослава,
И корят и судят, чужестранцы,
Игоря, что силу-рать родную
Погрузил в Каял-реку степную,
Половецкую реку засыпал
Русским золотом да и сам над нею
Из седла из золотого выпал —
Пересел в седло к врагу-кощею.

СОН СВЯТОСЛАВА

Приуныли стены в городах,
И не слышно звонкого веселья.
Святослав на киевских горах
Видел сон тревожный.
— С повечерья
В эту ночь, — сказал, — до бела дня
На кровати тисовой меня
Одевали пеленою черной.
Черпали мне синее вино, —
С ядом было смешано оно.
Рассыпали жемчуг крупнозёрный
Мне на грудь, степной колчан клоня,
И ласкали-нежили меня.
Без князька уж будто доски были
В златоверхом тереме моем.
С вечера покрылся вороньем
Луг поречный: каркали, кружили,
За лесные дебри хоронясь,
И всю ночь неслись на сине море!

И бояре отвечали: — Князь,
Разум твой заполонило горе.
Ведь уж оба сокола с отцова
Поднялись престола золотого,
Захотев Тмуторокань добыть
Либо Дона шлемами испить.
Да когда они летели степью,
Враг подрезал крылышки у них
Саблею булатной, а самих
Оковал железной тяжкой цепью.
Был тот день окутан темнотою:
Оба красных солнца помрачились,
Два столпа багряных загасились,
С ними мглой заволоклись густой
И в пучину моря погрузились
Месяцы — Олег и Святослав —
Молодые, ясные светила,
Дерзость хищной Хинове придав.
На Каяле тьма наш свет покрыла.
Яростнее барсова гнезда
По Руси раскинулась орда.
Уж бесчестье славу заменило,
Уж насилье волю полонило,
Уж повергся вниз на землю Див.
Вот над синим над морским простором
Готские девицы, зазвонив
Русским златом, распевают хором, —
Славят время Бусовых побед
И лелеют мщенье за хана
Половецкой степи, Шарукана.
Князь, а нам веселья больше нет!

ЗОЛОТОЕ СЛОВО

И тогда великий Святослав
Слово золотое,
Горькими слезами облитое,
Изронил, сказав:
— Дети, Игорь, Всеволод мой! Рано
Вы мечами начали терзать
Землю Половецкую — и бранной
В поле славы для себя искать.

Ведь неславно вы одолевали,
Вражью кровь неславно проливали.
Пусть вы буйной удалью своей
Сталь сердец отважных закалили, —
Что вы сотворили
Седине серебряной моей?
Уж не вижу с вами
Ярослава, брата моего.
И богат и силен он полками —
Многочисльством войска своего:
И черниговскими удальцами,
И могутами-богатырями,
А шельбиры, топчаки его,
Ольберы, ревуги и татраны —
Эти в битвах без щитов, с одним
Острым засапожником своим,
Разгоняют вражеские станы
Только грозным кличем боевым,
Прозвенев над жатвою кровавой
Прадедовой славой!
Но сказали вы друг другу: — Нет,
Мы теперь мужаться сами будем,
Сами славу новую добудем
И поделим славу прежних лет!
А и диво ль, братья, старцу стать
Молодым опять?
Коли сокол в линьке побывает,
Он высоко птиц тогда взбивает:
Своего гнезда
Не дает в обиду. Но — беда:
Мне князья уж не в помогу стали.
Времена тяжелые настали.
Вот и в Римов вторгся половчин.
Там кричат под саблями поганых,
А Владимир-князь — в тяжелых ранах,
Стонет, тужит Глебов храбрый сын.

*
**

Великий Всеволод! Ужьель
Нет у тебя и мысли той,

Чтоб издалёка прилететь —
Блюсти отцовский стол златой?

Ты мог бы веслами гребцов
Всю Волгу в брызги раскропить,
Ты мог бы шлемами бойцов
Весь многоводный Дон разлить.

И будь ты здесь, за пленных дев
Ногата платою была б,
По мелкой резани тогда
В торгу богатом шел бы раб.

Недаром можешь ты стрелять
И посуху в своих врагов —
Живые стрелы посылать:
Удалых Глебовых сынов.

*
**

О, буйный Рюрик и Давид!
Не вы ли со своим полком
Во вражьей плавали крови
По раззолоченный шелом?

Не ваши ль храбрые бойцы
Рычат, как ярый тур степной,
Когда в неизвестных полях
Он ранен саблею стальной?

Вступите, государи, вновь
В злат-стремень — и на вражий стан
За боль обид, за Русь, за кровь
Горящих Игоревых ран!

*
**

О, Осмомысл наш, Ярослав!
Высоко в Галицкой земле
Ты восседаешь, величав,
На златокованном столе.

Гряда Угорских гор твоей
Железной ратью подперта.
Путь королю загородив,
Замкнул Дунаю ты врата.

Ты мечешь башни в облака
И до Дуная рядишь суд,
И грозы ярые твои
По землям вражеским текут.

Ты можешь властною рукой
Ворота в Киев отворять,
С золотого отчего стола
Султанов за морем стрелять.

Стреляй в Кончака, государь!
Пусть примет мщенье басурман
За землю Русскую, за кровь
Горящих Игоревых ран!

*
**

Ты, буй-Роман, и ты, Мстислав!
Бесстрашных замыслов полёт
Неудержимо разум ваш
На подвиг доблестный влечет.

В порыве буйственном своем
Парит высоко ваша страсть,
Как сокол в воздухе, на птиц
Готовый яростно напасть.

В латинских шлемах ваша рать,
В железных панцырях она.
От них тряслась земная гладь,
Дрожала не одна страна.

Ятвяги, половцы с Литвой
И Деремела с Хиновой
Повергли копыя, подклонясь
Под ваши сабли головой.

Князья, но вот и солнца свет
Для Игоря уже погас,

И дерево свою листву
В недобрый обронило час.

И по Суле и по Роси
Мечами делят города,
А Игорев отважный полк
Не воскресить уж никогда.

Князя, вас кличет синий Дон,
Он на победу вас зовет,
Но подоспел на бранный звон
Лишь храбрых Ольговичей род.

*
**

Ингварь и Всеволод и все
Вы три Мстиславича! О, нет,
Вы, шестикрыльцы, не плохим
Гнездом порождены на свет.

Счастливым жребием побед
Владенья ваши добыты.
Где ж копья польские у вас,
Златые шлемы и щиты?

Загородите тыном стрел
Ворота в степь, открыв колчан
За землю Русскую, за кровь
Горящих Игоревых ран!

БЫЛАЯ СЛАВА

Уж к Переяславским городским воротам
Не струится серебром Сула,
И Двина под вражи возгласы болотом
В тот ли грозный Полоцк потекла.

Но не грозны стали нынче полочане.
Только сын Васильков, Изяслав,
По литовским шлемам позвонил мечами,
Прадеду Всеславу славу приласкав.

Да и сам он ратной был отмечен славой:
Весь иссечен саблями Литвы,

Пал под щит багряный на ковер кровавый
Полевой травы.

Уж не встать со смертной травяной постели!
И печально он себе сказал:
— Князь, твою дружину крылья птиц одели,
Хищный зверь ей раны облизал!

Не случилось рядом братьев Изяслава.
Не случилось около него
В этот час ни брата Брячислава,
Ни Всеслава, никого!

Одинокó сквозь золотое ожерелье
Он жемчужну душу изронил
Вон из храбра тела. Замерло веселье,
Трубы трубят — голос их уныл.

Ярослав и все вы, правнуки Всеслава!
О, вложите ржавый меч в ножны,
Преклоните стяги! Вас отвергла слава
Гордой старины.

Вы на край отцовский, на его обилье
Первые врагов и навели.
Ведь от вашей свары и пришло насилье
С половецкой кочевой земли!

*
**

Как на том, на Трояновом веке Всеслав
Бросил жребий о милой своей, загадав
Про наследственный Киев. На борзом коне
Подскакал он к его крепковратной стене,
Да лишь древком копья боевого с седла
Чуть коснуться успел золотого стола.
Лютым зверем из Белграда скрылся в ночи, —
Убегая, завесился синею мглой.
Поутру же на Новгород поднял мечи,
Ярославу славу расшиб, удалой!
Волчьим скоком, пригнувшись к седельной луке,
От Дудуток метнулся к Немиге-реке.
Там идет молотьба: настилают снопов,

Не снопов — человеческих голов. На скаку
Их молотят клинками булатных цепов,
Полагают живот на широком току,
Выведают отважные души из тел.
Ярко берег Немиги от крови зардел.
Там не жито посеяно — кости легли
Сыновей нашей матери, Русской земли.

Князь Всеслав днем людей и судил и рядил,
В ночь же волком из Киева прочь уходил.
К петухам, осененный ночной темнотой,
Поспевал он в далекую Тмуторокань, —
Солнцу, Хорсу великому, путь золотой
Перерыскивал волком. В глубокую рань
В стольном Полоцке сквозь голубую дрему
У Софии святой чуть, бывало, ему
Позвонили к заутрени в колокол, он
Той порой услышал уж и киевский звон.

Но хоть с вещей душой в храбром теле на свет
Князь родился, а часто страдал он от бед.
Про него-то Боян и пропел ведь впервой
Свой припев, прозвеневший премудрой молвой:
«Будь хитёр, будь горазд, быстрой птице подстать,
А пред божьим судом не минуешь предстать!»

О, стонать всей Руси, вспоминая князей
Стародавних великих! Да, видно, нельзя
Пригвоздить было старца Владимира ей
К высям киевских гор, хищной степи грозя.
Ныне стяги его разошлись по рукам:
Теми Рюрик владеет, другими — Давид.
Разно веять пришлось грозным их бунчукам,
Врозь и копыа поют в шуме яростных битв.

ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ

До Дуная Ярославнин причет
Слышен рано на заре. Одна,
Чу, зегзицей потаенной кличет
В утро тихое она:
— Как зегзица, — молвит, — над дубровой
По Дунаю быстро полечу

И в Каяле свой рукав бобровый
Я дорогой омочу.
Князь мой ранен. Кровью закипели
Злые раны на груди его.
Смою кровь на мужественном теле
У супруга моего!

Раным-рано, далеко-далёко,
В городе Путивле на стене
Ярославна плачет одиноко,
Причитая в тишине:
— Что ты, Ветер, веешь с буйной силой?
О, Ветрило-Ветер, для чего
Мчишь ты стрелы хана, легкокрылый,
В воев лада моего?
Мало ль ты под облаками веял,
На морях лелея корабли?
Что ж мое веселье ты рассеял
В ковыле степной земли?

Поутру в Путивле на забрале —
На зубчатой городской стене —
Ярославна в полевые дали,
Плача, кличет в тишине:
— Днепр Словетич, каменные гряды
Ты сквозь землю половцев пробил,
Святослава скорые насады
В стан Кобяка ты носил.
О, когда бы, на волнах лелея,
Ты, могучий, лада мне принес,
Чтоб не слала рано по заре я
Вдаль на сине море слез!

Поутру в Путивле на высокой,
На зубчатой городской стене
Ярославна плачет одиноко,
Восклидая в тишине:
— Солнце, трижды светлое светило!
Всем тепло, красно ты, Солнце, всем!
Что ж ты воев лада опалило
Огненным лучом? Зачем
В стороне безводной, незнакомой
Луки воям зноем ты свело
И глухой полуденной истомой
Им колчаны запекло?

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИГОРЯ

И — взволновалось море; прыщет пена;
Идут смерчи; бог сквозь ночную мглу
Дорогу кажет Игорю из плена
На Русь к златому отчему столу.

Погасли зорь огни вечеровые.
Князь Игорь спит — не спит и без конца
Умом просторы мерит полевые
От Дона и до малого Донца.

Овлур свистит коня в полночном мраке,
Заречную тревожа тишину.
Велит понять условленные знаки:
— Не быть, — воскликнул, — Игорю в плену!

Гудит земля, трава шумит густая,
Заколыхались вежи степняков,
А Игорь-князь проворней горностая
Прокрался меж прибрежных тростников.

Как белый гоголь, в воду окунулся,
Легко вскочил на борзого коня
И серым волком по степи метнулся
К лугам Донца, ковыль-траву клоня.

И соколом к черте родного края
Он полетел, туманами одет,
Гусей и белых лебедей сбивая
Себе на ужин, завтрак и обед.

Он соколом летел в степи зеленой,
Как серый волк, Овлур бежал по ней,
С трав отряхая дождь росы студенной, —
Ведь борзых-то умаяли коней.



Донец журчит: — О, князь, тебе
Немало величания,
Кончаку — огорчения,
А Руси — ликования,

И отвечает Игорь-князь
На светлых струй звучание:
— Донец, немало и тебе
Почету-величания.

Лелея князя на волнах,
Ты стлал над влагой сонною
На серебристых берегах
Ему траву зеленую.

Ты теплою мглой окутывал
Скитальца утомленного
Под свежей сенью дерева
Кудрявого, зеленого.

Стерег на зыби гоголем,
На струйках — чайкой чуткою,
А на ветру, на воздухе —
Пролетной дикой уткою.

Не такова река Стугна.
Сама она водой скудна,
Да напилась в пути ручьев —
И разлилась среди кустов.

И Ростислава юного
Своей волной холодной
На дне под темным берегом
Замкнула в глубь подводную.

Мать Ростислава всплакалась
По детище возлюбленном,
По юном князе ласковом,
В речных волнах загубленном.

Легли цветы от жалости,
А дерево с кручиною
К сырой земле склонилось
Зеленою вершиною.

*
**

Не сороки растрещались,
То по Игореву следу

Едут ханы Гзак с Кончаком
И в пути ведут беседу.

Тут не каркали черный ворон
И помалкивали галки,
И сороки не трещали,
По ветвям цепляясь в балке.

Только дятлы звонким тектом
Кажут путь к воде потока.
Соловьи веселым пеньем
Возвещают свет с востока.

Гзак промолвил: — Если сокол
На гнездо летит полями,
Расстреляем соколенка
Золочеными стрелами!

А Кончак: — Уж если сокол
Полетел в свою сторонку,
Лучше красною девицей
Свяжем крылья соколенку!

И тогда в ответ Кончаку
Гзак такое молвил слово:
— Если свяжем мы девицей
Соколенка удалого,

Ни его у нас не будет,
Ни красавицы-девицы,
И почнут нас бить чужие
В половецком поле птицы!

ЗАЗДРАВНАЯ ПЕСНЯ

А в конец пойдет речь Боянова.
Песнотворец века старого, каганова,
Века Ольгова, Ярославова,
Для меня, певца Святославова,
Он сложил ту премудрую речь,
Спел ее ладней соловушки:
• «Тяжело голове без могучих плеч,
Худо телу без головушки!»
(Так без Игоря — Русской земле.)

Солнце светится
Нам на небе.
Игорь-князь — на Руси, на отцовском столе.
Поют девицы
На Дунай-реке.
Голоса хоровода девичьего
С моря синего
До Киева
Расходятся.
Игорь едет вдоль Боричева
К Пирогощей святой богородице.
Страны рады,
Грады
С весями
Зазвенели
Веселыми песнями.
Вслед за ними и мы
Честь князьям воздадим —
Прежде старым,
Потом — молодым:
— Слава Игорю
Святославичу,
Туру буйному —
Свету-Всеволоду
И Владимиру,
Сыну Игореву!
Долго здравствуйте, князи с дружиной своей,
Поборающей нам среди безвестных полей
Половецкую силу пустынную!
Слава храбрым князьям с их дружиною!
Аминь.



А. М. Торькшĭ
письма и встречи





A. M. Popov
издательство



Вспоминается мрачное здание семинарского общежития, его длинные коридоры и неудобные комнаты. Вспоминается заветная тетрадь в клеенчатом переплете, которую я заполнял рифмованными строчками. Еще летом, проводя каникулы в родном селе, я послал кое-какие стихи в «Правду», которая, не в пример другим газетам, отводила много места поэтам-самоучкам. Стихи были напечатаны, но я об этом не знал, так как вскоре уехал во Владимир, а такие газеты, как «Правда», в семинарию не проникали.

Семинарское начальство тщательно ограждало учащихся от всякого живого веяния. Случалось, что дежурный надзиратель в отсутствие воспитанников обшаривал их ящики. Уличенные в преступном хранении недозволенной литературы подвергались гонениям. Поэтому жаждущие живого слова образовали тайный кружок и собирались для чтения запрещенных книг в архиерейском монастыре, в келье знакомого певчего. Возвращаясь в общежитие, члены кружка особенно остро ощущали гнёт семинарских стен, особенно жгуче ненавидели казарменный режим духовной школы.

Всё это происходило в конце 1912 года.

То была пора, когда Россия после временного торжества реакции вступила в полосу революционного подъёма. Новые, революционные настроения залетали и в стены семинарии.

Незадолго до рождественских каникул семинаристы устроили забастовку. Все классы, кроме шестого, выпускного, прервали занятия. Семинаристы — около пятисот человек — собрались в актовом зале, помяли бока приехавшему архиерею, выгнали ректора и инспектора. Затем, укрепив в дверных ручках швабры, забастовщики провели митинг.

Семинарское начальство проявило в усмирении забастов-

щиков чисто жандармскую решительность. В актов^{ый} зал были введены солдаты. Раздалась отрывистая команда:

— На при-цел!

Испытывая крепость наших нервов, отряд направил на толпу дула винтовок. Толпа шарахнулась. Кто-то вскрикнул. Стрельбы, однако, не последовало.

Наиболее активные забастовщики были арестованы и под конвоем городских отправлены к губернатору. Дряхлый старик, губернатор Сазонов, топая на арестованных короткими ножками и брызгая слюною, визгливо кричал:

— В остроге сгною!

Было исключено много народу. Семерых начальство по этапу выслало из Владимира в родные сёла. К этой семерке был причислен и я. Как и другие, я получил волчий билет. Пути к дальнейшему учению оказались для нас закрытыми.

Эта варварская расправа в условиях дореволюционной России не была чем-то необычным. За год до семинарской забастовки такая же печальная судьба постигла группу занимавшихся самообразованием владимирских гимназистов.

Усердные руки царских чиновников в мундирах и рясах выпалывали из среды учащейся молодежи самых пылких, пытливых и одаренных, обрекая их на жалкое существование.

Зима прошла для меня в скитаниях по родственникам и знакомым и в писании стихов. Товарищи поступали в псаломщики, некоторые мечтали подготовиться на аттестат зрелости. Мне тоже нужно было зацепиться за что-то, найти в жизни свое место. Но идти в псаломщики я не хотел, а других перспектив — кроме сочинения стихов — не было.

В этот переломный момент моей юности меня потянуло к Горькому. Причина влечения заключалась не только в огромной популярности его имени. Бодрый, протестующий тон его книг был так созвучен тем настроениям, к которым я приобщился благодаря запретной литературе Пятого года, революционным песням и разговорам с товарищами.

Я знал, что Горький живет на Капри, что он редактирует беллетристический отдел выходящего в Петербурге марксистского журнала «Просвещение». Почему-то верилось, что он не только может дать оценку моим стихам, но и вообще посоветует, как мне быть.

И вот я послал Горькому через журнал «Просвещение» несколько стихотворений.

В короткой приписке к ним я спрашивал Алексея Максимовича: есть ли у меня талант и где можно учиться девятнадцатилетнему человеку, лишенному права поступления в средние учебные заведения России?

Я писал это 1 мая 1913 года. На душе у меня было тревожно. А природа праздновала весну. Все было залито солнцем. За окном на одетых нежной зеленью деревьях щебетали птицы.

В то утро за чаем знакомый, у которого я гостил, — служащий приволжской фабрики, — блеснув на меня очками, сказал:

— Урядник требует, чтобы вас здесь не было. Через две-три недели по Волге поедет царь, — начальство убирает с его пути всех неблагонадежных. Вам надо будет отправиться домой, к родителям.

В предвидении своего отъезда я просил Горького ответить мне до 15 мая.

Ответ к этому сроку не пришел, и я уехал к отцу с невеселой мыслью о том, что мое письмо осталось без отклика.

Но в конце мая старичок-рассыльный принес в наш сельский дом пакет, который пересылал мне мой знакомый. Бросился в глаза почтовый штампель: «Капри». Сильно забилося сердце. Я нетерпеливо вскрыл сиреневый конверт с итальянской маркой. Письмо Горького было большое и душевное.

«Стихи Ваши показались мне недурными, — писал Алексей Максимович, — я послал их «Просвещению», где они, наверное, будут напечатаны. Присылайте еще...

Искра божья у Вас, чувствуется, есть. Раздувайте ее в хошой огонь. Русь нуждается в большом поэте. Талантливых — не мало, вон даже Игорь Северянин даровит! А нужен поэт большой, как Пушкин, как Мицкевич, как Шиллер, нужен поэт-демократ и романтик, ибо мы, Русь, — страна демократическая и молодая.

Ищите себя. Всех слушайте, всех читайте, — никому не верьте и везде учитесь. Сим и можете победить. Куда Вам поступить учиться? Ну, в этом я Вам не советчик, не знаю куда. Но — пишите мне почаще, что-нибудь надумаем.

До 15-го мая не успел ответить, извиняюсь.

«Будьте здоровы, берегите себя, не увлекайтесь пустяками серьезно»...¹

Предостерегая меня от увлечения модным тогда модернизмом, Алексей Максимович предлагал ряд советов. И прибавлял в заключение:

«Вот как я, целую проповедь написал Вам, а Вам, подика, этот род литературы и в семинарии надоел?»

Желаю успехов. Не забывайте, что литература у нас, на Руси, дело священное, дело величайшее...»¹

Трудно передать, каким праздником было для меня это письмо, как бодро отозвались во мне его полновесные, волшебнo-убедительные слова, сразу глубоко западавшие в память. Снова и снова я вглядывался в разорванные цепочки строк, круглые буквы которых казались распавшимися звеньями. Гордый вниманием Горького, я поверил в свои силы и способности. Будущее теперь не казалось мне таким смутным и неопределенным, как раньше.

Я продолжал писать Алексею Максимовичу, посылая ему новые стихи. В ответ приходили его строки, написанные прямым, круглым, будто катящимся почерком, всегда на плотной — в удлиненную клеточку — бумаге. Тем же почерком по-итальянски и по-русски был исписан и конверт. В итальянской части адреса Горький прибавлял к фамилиям своих корреспондентов слово «сеньор», что весьма повышало самоуважение людей вроде меня — с волчьими билетами.

Много радости принесла мне книжка «Просвещения» с напечатанными стихами, а первый, четырехрублевый, гонорар вызвал приятное ощущение относительной независимости.

Через месяц после первого письма с Капри я читал второе:

«Дмитрий Николаевич, за исключением — по силе соображений цензурных — стихотворения «Пролетарии», — все стихи Ваши будут напечатаны в июньской книге «Просвещения»...

Два стихотворения второго присыла пошлю завтра Овсяннико-Куликовскому для «Вестн. Европы», третье — «Просвещению».

Цифра после каждой цитаты обозначает номер соответствующего письма М. Горького к автору воспоминаний. Перечень писем смотри в конце книги.

«Родина» — очень понравилась мне, хотя немножко вычурно, приукрашено излишне...

Очень хорошо, что Вы — семинарист, это — народ упрямый, все семинаристы, каких я знал, умели и любили думать...»

В ту пору московский меценат Шахов отправил одного из семинаристов, исключенных вместе со мною, доучиваться в Швейцарию. Другие изгои, обратившиеся за помощью к Шахову, успеха не имели. Я рассказал об этом Горькому.

Он отвечал:

«Велика ли стипендия нужна Вам и на какой срок? Сообщите.

Шахов капризен, ибо стар...»²

А в следующем письме Алексей Максимович извещал меня:

«...Учиться необходимо...

Стипендию Вам — р. по 300 в год — я найду, недостатку доработаете сами. Изнурять себя непосильным трудом и голодовками в юности — вреднейшая вещь, от этого большая часть нашей интеллигенции и худосочна и нетрудоспособна...»

Дальше Горький сообщал, что поручил одной своей знакомой, Елене Константиновне Малиновской, прислать мне немного денег для поездки в Москву на предмет поступления в университет или институт.

«Вероятно, в скорости Вы получите деньги эти, — писал Алексей Максимович. — Затем мы с Вами точно договоримся о самой стипендии, — как, в какие сроки, откуда Вы будете получать ее.

Об участии моем в делах Ваших никому не байте, это может дурно отозваться на полицейской благонадежности Вашей...»³

Следуя совету Горького, я не разглашал своих отношений с ним. Но «шила в мешке не утаишь» — моя переписка с Алексеем Максимовичем не осталась тайной для жандармов. После революции копии писем были найдены во Владимирском охранном отделении.

В конце августа пришли обещанные деньги. Я поехал в Москву поступать в народный университет имени Шанявского. Это было, кажется, единственное в России учебное заведение, где от поступающего не требовалось ни казенного аттестата, ни свидетельства о благонадежности.

Зато окончившие университет не имели права и на диплом.

Я зашел в канцелярию «бесправного» университета и получил пропуск в аудитории.

Знакомая Горького, через которую он прислал мне денег на переезд в Москву, жена архитектора, Елена Константиновна Малиновская, знала Алексея Максимовича еще по Нижнему-Новгороду. У нее были совсем большие дети: сын — гимназист и дочь — девушка-подросток. И ко мне моя новая знакомая отнеслась тоже по-матерински. Я стал частым гостем в ее квартире, в многоэтажном доме с величественным швейцаром, который отворял мне парадную дверь и учил меня обращаться с лифтом. Было решено, что, несмотря на готовность Алексея Максимовича предложить мне необходимые деньги, Е. К. Малиновская прежде все-таки попытается добыть стипендию для меня у московских меценатов.

В хлопоты по изысканию стипендии был вовлечен профессор Алексей Евгеньевич Грузинский, читавший в университете им. Шанявского лекции по русской литературе XVIII века. Это был пожилой человек с седеющими волосами, остриженными под бобрик, и небольшой бородкой на полном добродушном лице. Он просмотрел мои стихи и написал коротенький отзыв, отметив в них, как наиболее существенную черту, чувство патриотизма. Кажется, этот отзыв был показан Шахову или какому-то другому меценату, но попытка получить стипендию этим путем не удалась.

В связи с этим Горький писал мне:

«Дмитрий Николаевич, неопределенность Вашего положения в скорости выяснится,— потерпите ее еще немножко! Все устроится, верьте мне!..»⁴

Скоро я узнал, что деньги мне будет давать сам Алексей Максимович.

А. Е. Грузинский подарил мне несколько книг, в том числе две составленные им хрестоматии по русской литературе и сборник стихов Ив. Бунина «Листопад». На первой странице «Листопада» была дарственная надпись:

«Алексею Евгеньевичу Грузинскому не от автора, но тоже от Ивана и тоже Алексеевича, но Белоусова. 22/IV 1908 г.»

Трогательная дружба связывала профессора Грузинского и поэта-портного И. А. Белоусова. Эта дружба продолжалась вплоть до смерти Белоусова.

Алексей Максимович знал Белоусова и поручил ему перевести для издательского товарищества «Знание» шевченковский «Кобзарь». Требовательность Горького заставляла переводчика искать равноценных оригиналу строк.

В эту зиму мне пришлось встретиться и с И. А. Белоусовым. Поэт издавал литературно-художественный журнал «Путь». В одной из книжек журнала появилось мое стихотворение, и я отправился в редакцию, находившуюся за Семеновской заставой, в доме, где жил Белоусов.

Доехав на трамвае до конечной остановки, я пошел вдоль деревянных домиков с подзоринами и цветами в окошках, мимо пышных, искристых сугробов с синими тенями. Здесь была тишина московской окраины.

Я нашел дом Белоусова и, отворив дверь, очутился в портновской мастерской. На составленных вместе столах, поджав под себя ноги, сидели люди в рубашках, в жилетках и шили. Ко мне подошел невысокий старичок с длинными волосами и клинообразной бородкой, одетый в широкий светлый костюм. Это был сам И. А. Белоусов. Узнав, что я — автор напечатанных в «Пути» стихов, он провёл меня в соседнюю комнату. Здесь я увидел письменный стол, книги, картины.

Иван Алексеевич предложил мне садиться, сел сам и сказал, что у него собирается кружок писателей-сотрудников журнала, и что он был бы рад видеть меня на этих собраниях.

— Давайте нам новых стихов, а за напечатанные получите гонорар.

Мне пришлось расписаться в гонорарной ведомости, после чего Иван Алексеевич вручил мне деньги и номер журнала.

Еще осенью я познакомился с Екатериной Павловной Пешковой. Дежуривший в вестибюле швейцар с серебряными галунами на ливрее сказал мне, что Екатерина Павловна дома. В лифте я поднялся на четвертый этаж, позвонил и через несколько минут разговаривал с Екатериной Павловной. Она встретила меня приветливо. Говорила, что уже знает меня по стихам, которые переписывала на машинке для Алексея Максимовича.

Тонкое, смуглое лицо Екатерины Павловны было красиво. Низкий грудной голос гармонировал с ее внешностью. В интонациях речи, в движениях Екатерины Павловны была некоторая сдержанность, но я чувствовал за нею доброту и участие.

Екатерина Павловна познакомила меня с сыном. Максим Пешков, еще носивший серую курточку гимназиста, смуглым, теплым цветом кожи, линиями лица, темными глазами очень походил на мать, но мне виделось в нем и что-то отцовское. Впрочем, о наружности Алексея Максимовича я мог судить лишь по его портретам. А хотелось поскорее увидеть, услышать и его самого.

В середине зимы Горький вернулся из Италии на родину, но в Москву не заезжал, а поселился в Финляндии.

В Москве жили два молодых литератора, близко знавшие Алексея Максимовича: Борис Тимофеев и Новиков-Прибой. Оба недавно приехали с Капри. Оба жили на Таганке в общей квартире. Знакомая Горького дала мне их адрес. Я поехал к друзьям-писателям и встретил у них самый радушный прием.

Голубоглазый, светловолосый, сразу располагавший к себе Борис Александрович Тимофеев был автором повести «Сухие сучки» и небольших рассказов. Горький считал его очень даровитым. Тимофеев учился на медицинском факультете, носил выцветшую шинель и в шутку называл себя «вечным студентом».

Невысокий и коренастый Алексей Силыч Новиков, в прошлом матрос, казался старше Тимофеева. Год, прожитый им на Капри, был для него серьезной школой. В дарственной надписи на одной своей книге Горький назвал Алексея Силыча — «Силой земной». Эта крепкая почвенная сила выражалась у Новикова в железной настойчивости и целеустремленности. Если Тимофеев писал, когда приходило настроение, то Новиков, по примеру Алексея Максимовича, работал ежедневно, упорно.

Сходясь вместе в столовой, друзья говорили о Горьком, о его внимательном отношении к талантливым людям. Называли имена писателей, которых Алексей Максимович ввел в литературу; мне особенно запомнилась история рабочего поэта Семена Астрова. Молодой рабочий Астров жил в Париже; он перенес много тяжелого: чтобы не умереть с голоду, нанимался мыть стекла, а стихи писал бодрые, жизнерадостные. Послал свою тетрадь Горькому.

Стихи Алексею Максимовичу понравились и при его содействии были напечатаны в лучших журналах.

Тимофеев не без гордости вспоминал, как Алексей Максимович пользовался его медицинскими советами, а Новиков своим тамбовским говорком рассказывал о писательской взыскательности Горького, о его строгости в оценках работы и роста литераторов:

— Ох, и здорово сердится, когда вещь плохая! Такую задаст баню, что никогда не забудешь.

Горьковскую строгость пришлось испытать в те дни и мне. В моих литературных вкусах и суждениях было много незрелого, наносного, взятого напрокат.

Не умея уважать свое, индивидуальное, я рядился в платье с чужого плеча. Такой маскарад вызвал со стороны Горького резкую критику:

«...Вы еще молоды, но у Вас есть кое-что свое, это Вы и должны беречь, развивать, говорить же, что «я решил быть поэтом прекрасной дали, грядущего Эдема, града невидимого и влюблен сейчас в слово «Рай»,— все это Вам не нужно. Все это — дрянь, модная ветошь, утрированный лубок и даже языкоблудие. Каким Вы будете поэтом, это неизвестно ни вам, никому, но если Вы пойдете за Клычковыми, вы не будете поэтом.

Вы пишете: «исключительно гражданским поэтом быть нельзя»,— а разве Вас кто-то приглашает именно на эту роль? Я не знаю, что такое гражданский поэт и военный, я знаю только хороших поэтов и плохих. Нужно стремиться быть именно хорошим, серьезным поэтом, а для сего необходимо выкинуть из головы всю современную бутафорию и театральщину, все эти «дали», «Эдемы», «фиалы»,дохлых «Прекрасных дам» и прочую дребедень. И чем скорее это будет сделано, тем лучше для того, кто это сделает. «Гражданственность» же доступна только таким великим поэтам, как Гюго, Верхарн,— о ней Вы подождите думать. Пишите просто, искренно о своей душе и от своей души, никому не поддаваясь, никого не слушая... У всех учиться, никого не слушать — вот что хорошо для Вас, как и для всякого, начинающего говорить с миром.

На сердитое письмо не обижайтесь. Это слова сердитые, а не мысли.

Будьте здоровы, учитесь, умеете смотреть в лицо всем и всему...»⁴

Сердитое письмо, конечно, не обидело меня, так как я

понимал, что строгость Горького идет от великой любви к литературе и от искреннего желания помочь мне. За «сердитыми» строчками я чувствовал заботу и внимание.

Горький жил среди финских лесов и сугробов, но благодаря письмам, встречаю с его друзьями, рассказам о нем я ощущал Алексея Максимовича где-то совсем рядом. Та атмосфера, которой я дышал, была проникнута обаянием его личности.

Вместе с Тимофеевым и Новиковым-Прибоем я бывал у Екатерины Павловны Пешковой.

Екатерина Павловна поила гостей чаем. На столе в высоких хрустальных вазах золотились апельсины, а за окнами — зима, деревья и провода опущены инеем. Гости читали свои рассказы и стихи, говорили о литературных новостях и, конечно, о Горьком. К нему, в тишину северных посевших лесов, неслись наши думы.

На каком-то студенческом вечере известная артистка (кажется, М. Ф. Андреева) декламировала горьковскую сказку «Товарищ». Помню теплый полумрак зала, десятки блестящих глаз, стройную женскую фигуру над аплодирующей, наэлектоизованной толпой.

Был в районе Таганки ночлежный дом. В зимние морозные вечера, направляясь к «каприйцам» (так называл я своих новых друзей), в окно трамвайного вагона я наблюдал потрясающее зрелище. Одетые в лохмотья жалкие человеческие фигуры, скорчившись от холода и засунув руки в рукава, мелкой рысцой подбегали к ночлежке и становились в очередь». «Бывшие люди» были всё теми же, какими их увидел Горький в годы своих странствий по Руси. Жизнь с виду была всё та же, но там и сям уже звенели подпочвенные струйки, предвещая буйное весеннее половодье.

У рабочего класса нарождалась своя интеллигенция. Писатели из народа настойчиво заявляли о своих правах на литературное творчество. Горький был их знаменем. Его необычайный путь со дна жизни к вершинам культуры и мировой славы был как бы и их путем.

В журнале «Современный мир» появилась большая статья Горького «О писателях-самочках», написанная на основании поступавших к Алексею Максимовичу произведений писателей из народа. Сотни людей, почувствовавших потребность писать, со всех концов страны посылали ему на Капри свои рукописи. В поисках возможности ска-

зять свое слово писатели-самоучки объединялись в кружки, издавали коллективные сборники.

В квартире моих друзей тоже скоро стали появляться писатели из народа. Бывал беллетрист Г. Завражный. Лицом с толстыми складками морщин, щетинистыми усами, густым басом он напоминал пожилого соборного певчего. Приходил Павел Георгиевич Тупиков, чисто одетый, вежливый человек со следами оспы на лице. Он редактировал еженедельный литературно-художественный журнал демократического направления «Живое слово». Сам он тоже писал рассказы, подписывая их псевдонимом: «Павел Низовой».

Младший брат Бориса Тимофеева, Вадим, скромный и несколько замкнутый юноша, был талантливым поэтом. Он мечтал о том, чтобы книга его стихотворений была напечатана, как копеечные базарные «Песенники», на самой дешевой бумаге и тоже стоила бы копейку.

— Пусть идет в народ!

Вряд ли он в то время знал, что такая же мечта была у Некрасова, издававшего свои стихи трехкопеечными «Красными книжками», которые через продавцов-офеней села Мстеры шли в народ вместе с лубочными изданиями.

Весной отравился молодой критик Скиф, писавший для «Живого слова» литературные обозрения. Хоронили его в солнечное апрельское утро. После похорон писательская братия зашла в какой-то трактир помянуть покойного. Сидели на воздухе в садике за длинным столом. Рядом со мной поместился человек с одним глазом, — другой закрывала широкая черная лента. Сосед оказался Михаилом Сивачевым, автором на шумевшей книги «Прокрустово ложе», имевшей подзаголовок: «Записки литературного Макара». Рассказывая в ней о своих литературных мытарствах, Сивачев поднимал вопрос о разрыве между интеллигенцией и народными массами. Представитель общественных низов, писатель из народа требовал внимания к себе, к своим исканиям, к работе своей проснувшейся мысли.

Литературно-общественное значение книги одним из первых признал Горький. несмотря на то, что в ней были упреки и по его адресу; Сивачев упрекал Алексея Максимовича за то, что он, якобы, не до конца поддержал его, писателя-самоучку.

Мне казалось, что обвинять Горького в недостатке вни-

мания к пролетарским писателям было верхом несправедливости, и я поспешил сказать об этом соседу.

Конечно, Горький в моей защите не нуждался, и мне, пожалуй, не следовало поучать Сивачева хотя бы потому, что он был старше меня, больше видел и пережил. Но он не стал спорить со мной, и мы расстались мирно.

В университете им. Шанявского тоже были свои писатели.

Группа поэтов издала коллективный сборник стихов «Зигзаги в тумане», имевший вид толстой тетради в малиновой обложке и изобиловавший дружескими посвящениями.

Один из участников сборника, Георгий Якубовский, через несколько лет стал видным литературным критиком, но рано умер от туберкулеза. На его лице с кожей матовой белизны и маленькими черными усиками светились живые улыбочивые глаза. Кроме университета Якубовский посещал школу живописи, где тогда учился и Маяковский, о котором он нам рассказывал.

Другой участник «Зигзагов» причислял себя к футуристам. Для рекламы он надевал на пышные черные локоны дамский берет, носил бархатную блузу с кружевным воротником и туфли-лодочки.

Особенно интересовал меня поэт, пропагандировавший новое литературное направление: социальный динамизм. Пенсне на черном шнурке и потертая синяя блуза придавали ему вид интеллигентного пролетария. Мягкая улыбка освещала его испитое лицо с высоким лбом, с прядями прямых, как солома, светлорусых волос, спадавших на виски, — лицо аскета.

Мало тратя на себя, он покупал все новые сборники стихов поэтов-символистов, у которых учился мастерству, но в то же время находил их поэзию пустой и бессодержательной.

— Современные поэты, — говорил он тихим убеждающим голосом, — зашли в тупик, уперлись лбом в стену. Им не о чем писать. Есть только одна большая тема: демократия, но эта тема чужда им.

Сам он писал социальные поэмы в духе Верхарна, готовил сборник стихов «Слова слав».

Новые встречи, лекции, литературные вечера, шумная жизнь большого города, — всё это насыщало мою душу разнообразными, яркими впечатлениями.

Но, воспринимая внешние впечатления, я жил в каком-то своем светлом мире. Куда бы я ни шел, что бы я ни делал, где-то в глубине моего сознания жила радостная мысль о том, что Горький утвердил меня в поэтическом призвании, что я в силах сделать для людей, что-то хорошее. С этой мыслью я просыпался, с ней отходил ко сну, и жизнь казалась мне полной смысла, приманчивой, обещающей.

Если многие литераторы, заявившие в 1905 году о своих революционных настроениях, впоследствии быстро отказались от них, то буреветник революции — Горький — в самые тяжелые годы реакции оставался верным рабочему классу. Он горячо выступал против вредных тенденций буржуазной литературы.

Газеты той поры много писали о самоубийствах среди учащейся молодежи. Люди, отравленные ядовитым дыханием безвременья, уничтожали себя с ужасающей простотой. Даже в небольшом кругу моих знакомых за эту зиму было несколько самоубийств. Особенно поразила меня смерть семинариста Якова Виноградова, получившего, как и я, волчий билет. Он не вынес горя матери-дьячихи и застрелился, зарядив охотничье ружье за неимением пули самоварной гайкой.

Молодые буржуазные литераторы, вместо борьбы с порожденными несправием русской жизни упадочными настроениями, сами проповедовали уход от жизни, воспевали смерть.

«К жизни, к работе, а не к смерти надо звать», — отвечал на это Горький («Издаека»).

Его имя было символом жизни, надежды, бодрости. К его голосу прислушивалась вся передовая часть народа.

Незадолго до моего приезда в Москву Алексей Максимович напечатал в газете «Русское слово» статью об инсценировках романов Достоевского: «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы», как о «затее сомнительной эстетически и безусловно вредной социально». Статья заканчивалась словами:

«Я предлагаю всем духовно здоровым людям, всем, кому ясна необходимость оздоровления русской жизни, протестовать против постановки произведений Достоевского на подмостках театров».

Вокруг статьи поднялся шум. Некая группа литераторов в вечернем издании «Биржевых ведомостей» обвиняла Горького в попытке «установить цензуру общества над свободой художника».

Друзья Алексея Максимовича предложили мне подкрепить его обращение подписями шанявцев.

Знакомых в университете у меня еще не было. Для получения подписей требовалось перед началом лекции подняться на кафедру и произнести речь. Я был очень застенчив и к тому же не обладал ни ораторским даром, ни достаточно громким голосом. Тем не менее, решил «выступить».

Потрясая перед сотнями глаз листом чистой бумаги (для подписей), я призвал аудиторию откликнуться на обращение Горького и присоединиться к его протесту. Случилось то, чего я боялся: голос мой пропал под сводами огромного зала. Результат выступления был очень скромным, — и я рассказываю об этом маленьком случае лишь как о психологическом показателе моего отношения к Горькому, отношения, выражавшего настроения многих.

Выделив стипендию на мое образование, Горький и сам воспитывал меня, как других, начинавших «говорить с миром».

Никакой учебник литературы не мог дать того, что я находил в горьковских письмах.

Алексей Максимович внушал, что труд писателя — это подвиг. Напутствуя меня на работу поэта, писал:

«Не забывайте, что литература у нас, на Руси, дело священное, дело величайшее».¹

Напоминал о связи слова с жизнью, о требованиях, которые предъявляет писателю действительность:

«Русь нуждается в бодрых песнях, довольно минорными».³

Хотел вызвать во мне сознательное отношение к окружающему:

«Для Вас Русь — свое, Ваше дело».⁹

Убеждал расширять круг чувств и настроений:

«Лирик Вы. Это — хорошо. Но — иногда человек должен схватить сам себя за сердце, нет ли там, в сердце, кроме тихой грусти — горькой усмешки, гневной искорки,

иронического яда? Уж если Вы выходите на люди — показывайте себя богаче, всего себя развертывайте...»⁶

И повторил эту мысль в другом месте:

«Не настраивайте своей души на один тон, а старайтесь, чтобы она говорила всеми глаголами, чтоб ничто не было чуждо ей. Не обижайте себя.

Заметив, что Вас особенно усиленно тянет к чистой лирике, попытайтесь поискать, нет ли рядом с этим тяготением чего-либо иного, противоречивого ему? Развертывайте себя шире, раскрывайте глубже...»⁹

Иногда Горький давал и темы. Когда я уехал на лето в родное село, он советовал:

«Вот теперь, живя в деревне, вспомните город, сопоставьте его с деревней, может быть, хорошо будет?»⁶

Алексей Максимович звал всматриваться в людей, вдумываться в жизнь и быт. Заставлял говорить о том, что перед глазами. Подсказывал:

«О сенокосе писали?

О лесных пожарах хорошо можно написать...»⁷

Спрашивая, не пробовал ли я писать прозой, предлагал:

«Напишите-ка прозой праздник в деревне, как Вы его видите, и будни. Попробуйте!

Коротко, просто и так, будто Вы все это сердечно любимой Вами девице пишете или рассказываете матери, которую тоже любите глубоко, страстно и бережно».²

Стремление к простоте, к сжатости, к искренности Горький считал обязательной предпосылкой удачной работы.

«А вот что Вам нравятся стихи Клычкова, Клюева и подобных им — людей весьма даровитых, но мало серьезных и еще не поэтов, — это плохо, простите меня! Очень плохо»⁴ — отмечал он в «сердитом письме».

«Наиболее удачное по форме и трогательное по настроению — Егорий, но — друг мой! — не нужно форсить рифмами, как делают это Клычковы и Клюевы, — напоминал Алексей Максимович в другой раз, — поверьте старому воробью: они гораздо больше книжники и спортсмены слова, чем поэты милостию божией. Что будет с ними дальше, не знаю, но пока — они все еще музыкантствуют. Я не отрицаю музыку слова, но хорошая музыка всегда проста, все хорошее просто, а «косицы» и «косится» — и не просто и не хорошо.»⁶

Осуждая «книжников и спортсменов слова» за увлечение звуковыми эффектами, за несерьезность и манерность, Горький в своих письмах настаивал на том, чтобы я учился у Пушкина и других классиков, знакомился с фольклором. Первые же обращенные ко мне строки Алексея Максимовича начинались советом:

«Читайте почаще Пушкина, это — основоположник поэзии нашей и всем нам навсегда учитель. Тем, кто кричит, что Пушкин-де устарел, — не верьте, — стареет форма, дух же поэзии Пушкина нетленен. И в поэзии надо быть хоть немного историком, т. е. человеком, честно и сознательно относящимся к своему историческому вчера...»

Проводя линию от Пушкина к нашим дням, Горький, в противовес новшествам литературной моды, выделял в современной поэзии пушкинскую реалистическую традицию.

«Еще рекомендую Ив. Бунина, — писал Алексей Максимович, — он суховат, но прекрасно знает русский язык и не словоточив развратно, как например Бальмонт, — вообще большой, конечно, поэт, но раб слов, опьяняющих его.

Вы, видимо, немало читали Б(альмон)та и современников, это сказалось излишней цветистостью Ваших стихов, в чем гораздо больше молодого форса и задора, чем вкуса и музыки. Красота — в простоте, это — аксиома. Как бы мы все ни метались, а во едину от суббот все-таки — и постоянно — молим: «попроще, пояснее!» Детские болезни, разумеется, обязательны в наших условиях, но — можно попытаться избежать scarlatины подражания — хотя бы и невольного — модернизму, не столь ценному у нас, как об этом принято думать...»¹

О необходимости учиться поэтическому мастерству у Пушкина Алексей Максимович говорит и в других письмах:

«... учиться нужно по Пушкину, а от того, кто скажет Вам, что Пушкин устарел, идите прочь!»⁴

«...Посмотрите, как широк диапазон его интереса к жизни, как много он охватил на земле, ему равно доступны и русская сказка и «Скупой рыцарь», «Борис Годунов» и работник Балда, — вот как нужно брать жизнь!..

Прочитали бы Вы после Пушкина-то Шелли и Гейне, почитайте Мицкевича и Сырокомлю, — последний не велик поэт, но — оригинален.

«А всего больше читайте русский эпос, былины, сказки, изучайте русский язык по народным песням...»⁷

Из писем Горького я впервые узнал о необходимости экономить словесные средства, об искусстве немногими словами выражать многое, о законах композиции. Одобряя мои новые стихи, Алексей Максимович прибавлял:

«Но будьте строже к себе, не многословьте, нужно, чтобы в стихах не было бородавок. Не всякий цветок краше от лишнего лепестка...»⁷

А по поводу другого стихотворения замечал:

«Гармошка» — длинно, эти вещи надобно писать короче и не столь скучно. Надобно писать, «чтобы словам было тесно, мыслям» и чувству «просторно»...⁶

Иногда мои рукописи возвращались от Горького с его пометками и приписками. Карандаш Алексея Максимовича подчеркивал неблагозвучные сочетания согласных, отмечал слова с неправильными ударениями, искусственные или небрежные рифмы.

«Поле ли» — «пролили», «ветерком оне» — «гомоне», — писал Горький, — это напрасно считается «изысканностью». Это более удобно для юмористической поэзии, это то же самое, что

Станция Куокала

Сердце мне раскокала

и приличествует старикам Минаеву, Курочкину. Рядом с такой «виртуозностью» Вы рифмуете: «дымные — переливные». Не годится, сударь! Конечно, 19 лет многое объясняют, но, взявшись за серьезное дело, растите скорей...»¹

Писать «крылышки — мокры лужки» стыдно! Это не поэзия, а фокусничество и ему нет места в поэзии.

Дм. Минаев все равно останется непревзойденным современными словотерами, все фокусы сделаны им.

Звонил к обеду колокол,

Кот в то время молоко лакал, —

это искуснее «крылышки — мокры лужки»...

На полях стихотворения о величественной поступи пролетарских батальонов Горький приписал:

«Следовало дать больше гулких тяжелых слов.»

Зачеркнув заключительную строфу другого стихотворения, пояснил:

«Конец сладок, излишен... Это можно бы написать короче, ладнее.»

Такие замечания были хороши своей наглядностью.

Но предлагая советы и указания, главное условие успеха Горький видел в самостоятельности автора, в его внутренней независимости. Он учил искать свое, индивидуальное, и оберегать эту драгоценную творческую первооснову от посторонних воздействий. Свою первую заочную беседу со мной о полезном и вредном для начинающего поэта Алексей Максимович закончил фразой:

«А впрочем — желаю всей душой — ищите себя самого!..»

И через несколько строк повторил:

«Ищите себя. Всех слушайте, всех читайте, — никому не верьте и везде учитесь. Сим и можете победить.»¹

Из письма в письмо он твердил:

«Скажите себе: у меня есть свое! И берегите это свое...»⁷

Примите добрый совет человека, горячо желающего свободного развития дарованию Вашему: всех слушайте, все читайте, всему учитесь, но — берегите, но — ищите себя самого, никому не подчиняйтесь, все проверяйте и не давайте души Вашей в плен влияниям, чуждым ей...²

Дорожа самобытностью молодого автора, Горький желал ей свободного и полного выявления. Помогая, он ничего не навязывал и — больше того — как бы боялся подчинить личность начинающего своему влиянию. Он относился к дарованию писателя так бережно, так любовно, словно имел дело с хрупким и сложным инструментом, способным пострадать от неосторожного прикосновения.

«Пишите просто, искренно, о своей душе и от своей души, никому не поддаваясь, никого не слушая — ни меня, ни Клычковых, никого»,⁴ — требовал он.

«Вот Вы, дорогой мой, выходите на широкую дорогу, теперь Вас будут читать десятки тысяч людей, — берегите себя, любите свою душу свободной, учитесь у всех — не подражайте никому. Слушайте всякие советы — делайте по-своему...»⁷

«Свобода — лучшая любовница поэта, вот что надо помнить.»⁹

Летом Горький пригласил меня к себе в Финляндию: «Вам, сударь, нужно приехать ко мне, у меня недурная библиотека по фольклору, вот бы Вы и почитали хорошенько, да и по истории я не беден книгами.

Приезжайте? Буде нужно денег, — вышлю. Но приезжайте в сентябре, не раньше, а то я до августа буду занят очень и не в себе...»⁷

Через несколько дней вспыхнула мировая империалистическая война. Полагая, что Алексею Максимовичу не до гостей, приглашением я не воспользовался.

В село, где я проводил лето, отечественная беллетристика доходила лишь в виде дешевых еженедельников, — таких, как «Огонек», «Панорама», «Синий журнал». Их приносили, приходя на праздники домой, мои приятели-односельчане, работавшие на ивановских фабриках. От журналов шел густой дух монархизма и шовинизма. «Прославленные литераторы» в стихах и прозе усиленно бряцали оружием. Казалось, на все невоенные темы кем-то наложен строгий запрет, все человеческие чувства мирного времени объявлены нелегальными. Это действовало удручающе.

В таком настроении я получил письмо Горького:

«Дмитрий Николаевич, нет ли готовых стихов? Простых, не о войне, а просто — о жизни, о деревне? Давайте побольше, нужно для сборника, в котором намерена сотрудничать недурная компания.

Присылайте скорее по адресу: Петроград, Кронверкская улица, д. № 20, кв. 8.

Инженеру Александру Николаевичу Тихонову для А. М. Пешкова...»⁸

Эти немногие строки говорили так много! Значит, еще есть люди, думающие и чувствующие по-своему, и есть возможность писать, работать вместе с ними.

Радостной вестью было и письмо Е. К. Малиновской:

«Только что видела Алексея Максимовича. Он взял Ваш адрес, хочет Вам написать и прислать несколько денег. Завтра уезжает обратно в Финляндию, в Мустамяки. Пришлите хороших стихов, сделаю попытку их напечатать.»

Шла война. Фронт требовал солдат. Набор следовал за набором. По селам и деревням звенели рекрутские гармоники. Мои сельские друзья, один за другим, уходили в армию.

В эту осень мне тоже пришлось призываться на военную службу. Как рекрут, я был забракован, но учиться уже не удалось. Новый, 1915-й год я встретил в селе.

Свое намерение — написать мне — Алексей Максимович выполнил в январе.

«Дмитрий Николаевич, — гласило его письмо, — стихи Ваши я получил, отобрал и те, которые были у Е(лены) К(онстантиновны). Но со сборником мы опоздали и выпустим его только осенью.

Сообщите, могу ли отдать часть Ваших стихов «Современному Миру», а остальные раздать по другим изданиям?..

...Пишите по адресу Тихонова, я вижу его часто и письма Ваши не залежатся...»⁹

Вскоре после этого я побывал в Москве и узнал, что сюда собирается приехать Горький. Я решил не возвращаться в село, пока не увижу Алексея Максимовича.

В ожидании его приезда я снова начал ходить в университет им. Шанявского. После одной лекции со мной заговорил милостивый и скромный паренек с тетрадкой в руке. Светясь мягкой улыбкой, он сказал, что работает корректором в издательстве Сытина, пишет стихи и уже печатается в детском журнале. Он раскрыл номер журнала. Стихи были хорошие, под ними стояла подпись: Сергей Есенин.

Из поэтов-шанявцев Есенин знал пока только Николая Колоколова, исключенного вместе со мной из семинарии.

Мы быстро сдружились. Втроем ходили сниматься. Есенин познакомил меня с поэтами Суриковского кружка. Не раз мы посещали товарищеские собрания сотрудников журнала «Млечный путь», который издавался поэтом-приказчиком и для многих молодых авторов стал путем в большую литературу.

В эту же зиму в литературно-художественном кружке, где можно было встретить известных писателей, я видел Эмиля Верхарна. Он стоял на эстраде ярко освещенного зала и с пафосом что-то декламировал по-французски.

Я запомнил его четко обрисованное худощавое лицо, прямые седеющие волосы, свисшие усы, пенсне на горбатом носу. О чем говорил Верхарн? Он призывал чтить то великое и прекрасное, что заложено в человеке. Если Горький сказал: «Человек — это звучит гордо», то бельгийский поэт восклицал: «Восхищайтесь друг другом!»

Закончив чтение, Верхарн сошел с эстрады и сквозь расступившуюся толпу пошел к дверям. В соседней проходной комнате он вынужден был задержаться. Со всех

сторон его обступили нарядные женщины с альбомами, с карандашами, с ручками. Верхарн, любезно улыбаясь, оставял на альбомных страницах свой автограф.

На другом литературном вечере я увидел Ивана Бунина, читавшего свой рассказ «Грамматика любви».

Горький ценил Бунина, как писателя, который «прекрасно знает русский язык»,¹ отмечал в его книге «Иоанн Рыдалец» такие достоинства, как «строгость, серьезность, экономия слова и любовь к нему».⁴ Горьковская характеристика книги Бунина подходила и к его рассказу.

Бунина, дочитавшего рассказ до конца, сменили другие писатели. Он же, положив ногу на ногу и поглядывая в зал на публику, сидел на сцене сбоку стола и курил. Вся его некрупная фигура была хорошо видна мне: бледное молодежовое лицо с небольшой бородкой, зачесанные на косяк пробор темные волосы, черный костюм.

В жарком, набитом людьми зале Политехнического музея читал или, скорее, пел свои стихи Игорь Северянин. Он пел их на один и тот же несложный мотив. Стихи о Германии, о молодежи, о неотразимой Валентине звучали совершенно одинаково, но Северянин был в моде, и ему хлопали.

Где-то в литературных салонах плясал шаман, привезенный с севера для развлечения пресыщенных зрелищами московских барынь. Он бил в бубен и кружился на подмостках перед разряженной публикой, совсем как в родном чуме. Я шамана не видал. О нем мне рассказывала знакомая поэтесса.

Горький приехал в Москву в апреле, остановился у Екатерины Павловны.

Я пошел в Машков переулок. Алексея Максимовича не застал, но мне сказали, что он скоро будет дома, знает о том, что я приду, и просил подождать.

Максим начал показывать мне фотографические карточки отца. Были среди них курьезные. Я видел Алексея Максимовича в нарочито комических позах, с забавными гримасами на лице. В этих шуточных снимках так и чудился нижегородский подросток Алеша Пешков, сохранивший, вопреки тяжелому детству, солнечную жизнерадостность, признак богатырской силы духа.

Потом мы стояли на балконе и с высоты четвертого этажа смотрели на обтаявшую мостовую, на черные, еще голые ветки деревьев. Был чудесный солнечный день с го-

лубым небом, с мягким влажным ветерком, — один из тех дней ранней весны, когда воздух бодрит и опьяняет, а сердце волнуют смутные надежды.

Послышалось цоканье копыт, показалась извозчичья пролетка. Вот она остановилась около нашего подъезда. С подножки сошел человек в шапке запорожца и длинном пальто.

— Папа, — сказал Максим.

Мы вернулись в столовую. Через минуту в прихожей раздался низкий гудящий голос. В дверях показался Горький, очень высокий, слегка сутулый, одетый в черное. Его сероголубые глаза приветливо смотрели из-под широких бровей, под прокуренными усами светилась улыбка.

— Так вот вы какой, — взглянув на меня, сказал он густым окаяющим басом. — Ну, здравствуйте, здравствуйте, дорогой!

Я почувствовал пожатие крупной руки. Мне казалось, что Горький внес с собой что-то бодрящее и молодое, как апрельский воздух.

Он сразу заговорил о том, что мои стихи пора издать книжкой, что мне надо поездить, посмотреть Русь, ее народ.

— Подождите, мы вас и за границу отправим!..

Я с восторгом слушал эти сердечные слова.

Пока готовили стол для обеда, Горький провел меня в соседнюю комнату, сел, закурил папиросу. Продолжая беседу, начатую в столовой, он снова вернулся к моим стихам. Алексей Максимович находил их живописными. Вместе с этим он видел у меня серьезный недостаток — отсутствие жанра.

— Вы, сударь, ходите по земле и как будто не замечаете, что на ней, кроме цветов, деревьев, птиц, живут также люди. Вам необходимо полюбить людей — их труд, радости, заботы...

Горький сидел спиной к окну. На его угловатом выразительном лице с желтыми от никотина усами лежала полутьнь, но оно освещалось другим, внутренним светом, — этот свет лучился из глаз и вспыхивал доброй улыбкой. То несколько напряженное состояние, которое я испытывал в ожидании встречи с Алексеем Максимовичем, теперь прошло. Мне стало хорошо, легко. Горький держался так просто, с такой душевной чуткостью, что в его присутствии хотелось быть самим собой. Верилось, что он, вышедший

из народных глубин и видевший так много, всё поймет как надо. Его ласковые слова окрыляли мою душу.

Алексей Максимович заговорил о поэтах журнала «Просвещение» — ему удалось привлечь к участию в нем недурную компанию. Одного из поэтов, петроградца, Горький знал лично. Поэт начал писать недавно, но стихи у него были хорошие.

— Одно плохо: вообразил себя гением, — добродушно посмеиваясь, сказал Алексей Максимович, — ну, да это пройдет.

Потом, куря и по временам глухо кашляя, он начал рассказывать о каприйских рыбаках и неаполитанских рабочих. «Сказок об Италии» я еще не читал, но рассказ Горького звучал для меня сказочно.

Алексей Максимович говорил о врожденной артистичности людей, среди которых жил до приезда на родину, о их любви к искусству, музыке, песне. Раз в году они устраивают праздник песни, музыкальное соревнование. Песня, победившая на конкурсе, распевается на следующий день и продавцами макарон, и горничными, и газетчиками, и уличными мальчишками. Однажды лучшую песню сложил простой извозчик.

— И грамотность там стоит очень высоко. Прислуга, пока на плите готовится суп, читает газету...

Через два с половиной года, когда пришла Октябрьская революция, русские кухарки тоже научились читать газеты. Больше того: они научились управлять государством. Но тогда, в 1915 году, великий и талантливый русский народ шел по приказу царских генералов в подготовленную капиталистами кровавую драку.

Всё, о чем говорил Горький, было невозможно в стране городских, урядников, волчьих билетов, вечных недородов. Но в окне молодо синело весеннее небо, горьковские глаза тоже голубели по-весеннему, — и хотелось верить, что недалеко время, когда и здесь, у нас, все сказки станут явью.

А Горький, рассказав о карнавале, неожиданно прочел стихи о том, как мадонна благословила влюбленных, которые целовались на зеленом лугу. Стихотворение было небольшое — строк в восемь или двенадцать. Алексей Максимович читал глуховато, но внятно и с чувством. А прочитав, спросил:

— Нравится?

И прибавил:

— Вот как надо писать!

Мы вернулись в столовую, вся она была в теплых бликах. Поглядев в окно, Горький спросил меня о московских знакомствах, о влияниях, которые я испытывал в период своей городской жизни.

Отвечая Алексею Максимовичу, я между прочим упомянул имя довольно известной поэтессы. Она гордилась родством с автором «Конька-Горбунка» Ершовым и писала в приукрашенном русском стиле. Последним ее произведением был большой роман в стихах. О нем я тоже сказал Горькому.

— Хороший роман? — спросил Алексей Максимович.

— Техника хорошая.

— Что значит: техника?

Мне показалось, что Горький спрашивает неспроста. Строгость, серьезность, благородную простоту он предпочитал дешевой нарядности и цветистости, а моя знакомая любила слова нарядные и цветистые. Неустанно интересовавшийся литературой и писателями, Алексей Максимович мог иметь представление и о моей знакомой, тем более, что в дни его возвращения в Россию в одном журнале было напечатано ее стихотворение «Горькому», кончавшееся так:

Дремлет Русь-королева, повеся

Плотный полог малиновой зорьки,

Но колышатся снежные веси:

— Здравствуй, здравствуй, желанный мой Горький!

После обеда в руках Алексея Максимовича появился сборник стихов И. А. Белоусова «Атава», подарок автора Екатерине Павловне. В стихах Белоусова, на мой взгляд, как раз нехватало пресловутой «техники». Горький согласился, что «Атава» могла бы быть ярче, богаче.

За столом я старался запомнить человеческий облик Алексея Максимовича: скользкую под усами усмешку, взгляд сероголубых глаз, бритый, резко очерченный подбородок, лоб в морщинах, волосы ежиком, широко раскинувшиеся плечи. На портретах я привык видеть Горького в черной косоворотке. Теперь на нем был пиджак, накрахмаленная манишка, манжеты с запонками. Этот костюм только оттенял своеобразие его крупной фигуры и характерного лица. Чувствовалась в Горьком свежая, могучая душа, которую не могли обессилить ни мрачные впечатления русской действительности, ни туберкулез.

Вот Алексей Максимович привычно выпил бокал пенистой на вид лекарственной жидкости, — кажется, смесь кефира и яичных белков. Вот, обращаясь к Екатерине Павловне, он ворчливо заговорил о «шипях» своей славы: целое утро уличные зеваки преследовали его назойливым любопытством. И бестолковый шум безалаберной Москвы не нравился Горькому.

Потом Алексей Максимович начал разговор с сыном. Максим (в семье его звали Макс) любил цирк, спорт, увлекался французской борьбой.

Горький слушал его с ласково-нисходительной и сочувственной улыбкой. Может быть, он вспоминал свою юность, цветы которой грубо обрывала жизнь «в людях», и радовался за Максима, жившего иначе? Может быть, узнавал в нем себя, свои черты?

Очень хотелось побыть возле Горького подольше, но пора было уходить. Алексей Максимович спросил, есть ли у меня темы? Я рассказал содержание поэмы, которую хотелось мне написать.

Алексей Максимович одобрил сюжет поэмы и посоветовал:

— Только пишите ее разными размерами. Когда большая вещь написана одним размером, трудно читать. Напишите — присылайте мне.

Кроме поэмы я должен был прислать Горькому все остальные свои стихи для издания книжкой. Провожая меня, Алексей Максимович вышел в прихожую, и в его взгляде, улыбке, голосе я еще раз ощутил золотые нити той сердечной теплоты, которая наполняла строки его писем и книг.

Хрустя ледком подмерзших к вечеру луж, в которых отражалось зеленоватое небо, уходил я, унося в памяти обаятельный образ Горького.

Позднее я видел Алексея Максимовича «не в себе» — занятым, озабоченным, но впечатление первой встречи было самым прочным. В глазах у меня стоял человек, увиденный мной в апреле 1915 года. Человек этот всюду искал ту способность к творчеству, которой в величайшей степени был одарен сам.

«Будьте здоровы и берегите свой талант, — так заканчивалось одно из его писем. — На свете не мало хорошего, а талант самое лучшее»²⁰.

Он и сам берег нас, молодых, неизвестных литераторов,

боялся за наши неокрепшие силы. Любовное внимание Алексея Максимовича к начинающим писателям, в которых ему чудились проблески одаренности, выражалось в самых разнообразных формах — от переписки до включения фамилии автора в перечень сотрудников журнала. Помню, с какой гордостью я увидел в подписном объявлении журнала «Просвещение» свое имя рядом с именем самого Горького. Строки горьковских писем глубоко западали в сердце его адресата, ибо тоже шли от сердца, от горячего желания помочь, вразумить, поддержать.

Таким вот — отзывчивым другом безымянных писателей, робко вступающих в литературу, их наставником и вдохновителем — виделся мне Горький, когда сообщал:

«На днях читал Ваши стихи разным людям, почти всем они очень понравились, это меня крайне обрадовало...»⁷.

«Ваши стихи в «Современном Мире» всем нравятся, — поздравляю, сердечно рад за вас!...»⁸.

Сердечную отзывчивость Горького, его готовность помочь я испытал однажды и не по литературному поводу. Заболел мой младший брат. В нашем селе больницы не было. Городской врач, осмотрев мальчика, нашел признаки туберкулеза. В то время (лето 1914 года) в газетах появилось сообщение об улучшении, наступившем в здоровье Горького. По словам одного из моих знакомых, где-то была напечатана статья Алексея Максимовича о применявшемся к нему новом радикальном способе лечения туберкулеза. В своем горе я обратился к Горькому с просьбой рассказать, как и чем он вылечился?

Алексей Максимович ответил:

«Дмитрий Николаевич, статьи о том, «как я вылечился», я нигде не печатал.

Вылечил же меня д-р Ив. Ив. Манухин, освещая мне селезенку лучами Рентгена. Это — совершенно новый метод лечения туберкулеза и некоторых других инфекционных заболеваний, — метод, дающий все более прекрасные результаты.

Д-р Манухин живет в Петербурге, Сергиевская, 83, но предупреждаю Вас, что он уже закончил до осени прием больных.

Большинство докторов, применяющих метод Манухина, применяет его неправильно и берет за это дорого, но есть в Москве д-р Тихомиров, которому Манухин передал свой метод лечения непосредственно; если Вы хотите, я дам Вам

записку к Тихомирову. Отвечайте: Мустамяки, пансион Ланг...»⁵

Спустя несколько дней я получил от Алексея Максимовича рекомендательное письмо И. И. Манухина к доктору Тихомирову.

Месяца через три после моей первой встречи с Горьким он снова позвал меня к себе:

«Дмитрий Николаевич, не хотите ли приехать ко мне в Финляндию? Поживете другими впечатлениями, я предложу Вам подстрочные переводы армянских, латышских и других поэтов, а Вы попробуете придать им форму. Поговорим.

Если согласны, — отвечайте по адресу: Петроград, Лиговская, дом Перцова, квар. 110, «Парус», мне...»¹⁰

И прислал через И. П. Ладыжникова денег на дорогу.

Летом я помогал близким в работе, а в сентябре, когда убрали с поля хлеб, поехал к Алексею Максимовичу.

На станции Мустамяки я вышел из вагона и, узнав, что до деревни Нейволы, в которой жил Горький, недалеко, бодро двинулся в сумерки осеннего вечера. Шел лесом. Стемнело, а деревни все не было. Иногда в стороне показывался и пропадал огонек одинокого строения, звякала бубенцом корова. Ветер шумел в черных деревьях, над ними темнело беззвездное небо.

Из моих вопросов насчет дороги встречные финны понимали только одно слово: «Горький», но этого оказалось вполне достаточно, — слово довело меня до самой дачи Алексея Максимовича.

Было, видимо, уже поздно, но в доме еще не спали. Свет, падавший из окон, слабо озарял ступени крыльца и наружную дверь. Я вошел в переднюю и спросил прислугу, дома ли Алексей Максимович? Он был дома, вышел на зов и в первый момент не узнал меня — потому ли, что я, страдая зубной болью, обвязал щеку носовым платком, или оттого, что мое появление в такой поздний час было неожиданностью. В следующую минуту лицо Горького потеплело, он спросил озабоченно:

— Что с Вами? Вы больны?

Удивился, что я на станции не нанял подводы, и повел

меня за собой. Уже на ходу, обернувшись ко мне, он спросил:

— Ну, что? Много написали стихов?

И узнав, что в потертом саквояже, который я оставил у вешалки, кроме всего прочего, лежит большая поэма, бодро сказал:

— Ладно, читаем!

Идя за Горьким, я очутился в просторной, уютной комнате. На столе мягко светила затененная розовым абажуром лампа. За столом, рассматривая гравюры, сидели три человека: молодой худощавый брюнет, армянский поэт Терьян, рядом — плотный, с энергичным выражением лица, Александр Николаевич Тихонов, в адрес которого я посылал зимой стихи, и юная женщина, Варвара Васильевна Шайкевич, жена Тихонова. У нее были лучистые серые глаза и густые русые волосы, высоко подобранные по тогдашней моде.

После того, как Горький познакомил меня с гостями, возобновился прерванный моим приходом разговор.

С сердитой иронией Алексей Максимович говорил о духовной неразборчивости читателя-мещанина:

— Он не читает, а глотает книгу, как крокодил — бревно. Проглотит Толстого — начнет пожирать Аверченка, покончит с Аверченком — набросится на Диккенса. Книга не вызывает в нем никакой работы мозга, не оставляет никакого следа...

Горький, покашливая, выбрасывал из-под густых усов струйки табачного дыма.

Терьян спросил:

— Почему вы, Алексей Максимович, не пишете стихов?

— Я пишу их, только никому не читаю, — ответил Горький, улыбаясь так, что трудно было понять, шутит он или говорит серьезно.

Он помолчал и, усмехнувшись, прибавил:

— Да-с, пишу. А потом в один прекрасный день возьму да на удивление всем и напечатаю книгу любовной лирики.

Красивый, с матово-бледным истощенным лицом, с большими блестящими глазами и шапкой черных волос, Ваган Сукиасович Терьян учился на филологическом факультете Петроградского университета. Имя его было уже известно в литературе Армении. Стихи Терьяна переводили на русский язык Брюсов и Бальмонт. Поэт был болен

туберкулезом и вскоре после революции умер. Из скупых строк некролога я узнал то, чего не сказал Алексей Максимович, знакомя меня с Терьяном: еще тогда, в пятнадцатом году, он был большевиком и видным борцом за освобождение армянского народа.

А. Н. Тихонов писал повести, подписывая их псевдонимом: Н. Серебров, и помогал Горькому в его издательских начинаниях.

Обращаясь к Тихонову и Терьяну, Алексей Максимович заговорил об издании сборника армянской литературы. На столе появились бумага и карандаш. Терьян называл фамилии армянских литературоведов и русских поэтов-переводчиков, которых можно привлечь к работе над сборником. Горький записывал.

Характеризуя свое творчество, Терьян сказал, что он ввел в армянскую поэзию новые поэтические формы.

— Скоро напишу хорошие стихи. Давно ношу их в себе,— прибавил он.

Горький сказал:

— Вам надо писать по-русски, на языке нашего многомиллионного народа.

Терьян отвечал, что как бы ни хорошо владел он русским языком, задушевные мысли и чувства ему легче облекать в звуки родной речи.

Алексей Максимович возражал. Литература — мощное средство художественного воздействия на массу народа. Чем шире круг этого воздействия, тем лучше.

Потом начался разговор о новостях писательского мира. Терьян рассказал, что в литературных салонах Петрограда появился талантливый крестьянский поэт Сергей Есенин. Совсем еще юноша, он своими яркими образными стихами привлек к себе всеобщее внимание. Я сказал, что знаю Есенина по университету Шанявского. Горький спросил:

— Ну, что он? Каков?

Через несколько дней я убедился, что интерес Алексея Максимовича к новому имени не был случайным любопытством. Встретив в одном из журналов есенинские стихи, Горький прочитал их, но, кажется, они не произвели на него большого впечатления. Тем не менее в дальнейшем стихи молодого поэта появлялись в «Летописи». Его фамилия упоминается в письмах Алексея Максимовича. Горький продолжал присматриваться к нему, как к сотням

больших и маленьких литераторов, однажды попавших в поле его зрения. Воспоминания Горького о Есенине лучше всего показывают сочувственное внимание Алексея Максимовича к личности и творчеству поэта.

Спать меня устроили наверху, рядом с рабочей комнатой Горького. На столе около постели горела свеча и лежала книга, которую я попросил у Алексея Максимовича, чтобы почитать перед сном. Но разве можно было читать в этот вечер?

Утром, спустившись вниз, в комнату, где накануне сидели гости, я встретился с Терьяном. Он уезжал в Петроград. Мы вместе позавтракали. Терьян сказал:

— Алексей Максимович хорошо отзывается о вас. По его словам, если вы будете работать, из вас выйдет толк.

Поэт дал мне свою визитную карточку с адресом и пригласил заходить, когда я поеду через Петроград домой.

— Поговорим, почитаем стихи.

А в окнах синело ясное небо, обещая погожий день.

Пансион Ланг, деревянный двухэтажный дом, куда пригласил меня Горький, стоял на холме. Из окон было видно, как на юг и запад, словно толпы монахов, уходят хмурые хвойные леса. Они спускаются в долину к синему озеру, обходят его и простираются до самого горизонта, густые и туманные.

Большая комната с камином в нижнем этаже дома, где я сейчас разговаривал с В. С. Терьяном, служила столовой и гостиной. Здесь Алексей Максимович повесил несколько привезенных с собой картин Фокина и Бродского. Кроме обеденного стола, в комнате находился вместительный буфет, стояли высокие резные стулья и кресла. Рядом с большой комнатой было несколько комнат меньшего размера. Слабо освещенная лестница с узкими скрипучими ступеньками вела из коридора наверх, в кабинет Горького и его спальню.

Простившись с Терьяном, я в сопровождении жившей в доме остромордой собаки пошел в сад.

Утро было тихое и прохладное. У подножия сосен и елей лежали груды разноцветных камней и целые гранитные глыбы, красные, иссиня-серые. Они глубоко вросли в землю, покрылись мхом, травой и сухой хвоей. Вспомнилось затверженное в детстве:

Суровый край: его красам,
Пугаяся, дивятся взоры;
На горы каменные там
Поверглись каменные горы.

Камни, обломки скал всюду лежали и в лесу. Рядом синели крупные ягоды черники, застывшими каплями розового воска висели брусничные кисти. Часто в лесу попадались изгороди, через которые нужно было перелезть. Весь лес был разделен ими на небольшие участки. А в деревне выкапывали картошку. На пряслах сушились картофельные плети. Светило нежаркое осеннее солнце. Блестели окна деревянных домиков.

За обедом я встретился с Горьким.

— Ну, как? Нравится вам Финляндия? — спросил он.

И так же, как весной рассказывал об итальянцах, теперь рассказал о людях, населяющих эту землю камней и мхов. Дух бодрости и любви к труду витал над суровым финским краем. Горький рассказал о трудоспособности, культурности и честности финского народа. Маленький клочок каменистой почвы целый год кормит здешнего крестьянина. В его хозяйстве используется всё, даже картофельная ботва, которая зимой идет в корм скоту. Ни один прохожий не присвоит находки. Финские рабочие ездят на работу на велосипедах, хорошо одеваются, бывают в Народном доме.

Подали большую пачку столичных и провинциальных газет. Алексей Максимович начал просматривать их. У ног его дремала собака. От камина, в котором колыхались огненные языки, веяло сухим приятным теплом. На блестящий кофейник, на стаканы падали алые отсветы.

Отодвинув газеты в сторону, Горький повел речь об успехах современной техники, о том, какие мощные средства изобретает мысль для избиения людей. Разбойничьи силы империализма направляют творческую энергию разума на разрушение жизни, но их власть временна. Разум, наука сделают жизнь сказочной. Таков был смысл того, что говорил Алексей Максимович.

Я спросил Горького: кто, по его мнению, выйдет победителем из этой войны — немцы или союзники?

Он ответил:

— Вероятно, немцы победят нас здесь, а их победят там.

«Там» означало: на Западе.

Алексей Максимович поднялся в свою рабочую комнату. В эти дни он писал небольшие рассказы, которые через некоторое время прочел вслух.

Меня поместили внизу, в комнате с дверью, выходявшей на балкон. На балконе я нашел стихи А. К. Толстого, забытые здесь, может быть, кем-то из летних гостей Горького. Книгами были полны и большие шкафы, стоявшие в коридоре. Я вынул наудачу несколько томов, — от пожелтевших страниц и старомодного шрифта исходило своеобразное очарование. Это был некрасовский «Современник».

К вечеру пришли Тихоновы, жившие где-то по соседству.

А. Н. Тихонов спросил меня:

— Как вы узнали здешний адрес Алексея Максимовича?

Адрес Горького я узнал в Петрограде, в доме на Лиговской, где находилось издательство «Парус». Сообщила мне его старичок-швейцар.

— Швейцар? — удивился Тихонов, обеспокоенно переглянувшись с Алексеем Максимовичем. — Откуда же у него такие сведения?

Я понял, что Горький живет в деревне, затерянной среди финских лесов, не только ради лечения, что ему, может быть, грозят правительственные репрессии.

Действительно, приезд Алексея Максимовича в Россию с самого начала был рискованным делом. Революционная деятельность Горького в период заграничной жизни выходила за пределы чисто-литературных выступлений: достаточно вспомнить присутствие Алексея Максимовича на V съезде партии в Лондоне, организованную на Капри партийную школу для рабочих. С первых же дней приезда Горького на родину полицейские власти установили за ним наблюдение. Оберегая Алексея Максимовича от возможных неприятностей, близкие ему люди, среди которых был и Тихонов, постарались немедленно увезти его в Финляндию. Здесь Алексей Максимович находился в относительной безопасности, но полицейская слежка за ним, конечно, не прекращалась.

Мы сидели за столом.

Горький говорил о войне, о России, о русском народе. Слова Алексея Максимовича дышали тревогой и заботой.

Его лицо было строго и задумчиво, морщины на лбу углубились, голос звучал низко и приглушенно. А в дом, сливаясь с пряжей табачного дыма, входили сумерки, и теперь комната, где мы сидели, казалась холодной и уютной.

В дни мировой войны судьба русского народа особенно глубоко волновала Горького. Он напряженно вглядывался в хаос кровавых событий, но тогда, на втором году войны, еще трудно было угадать их развязку.

На фронте грохотали орудия. С газетных полос, с журнальных страниц ползли ядовитые волны ура-патриотического угара. Думские депутаты-большевики в арестантских халатах шли в Сибирь на поселение. Много передовых рабочих было призвано в армию.

И, говоря о будущем, Алексей Максимович допускал самые безотрадные предположения. Он боялся, что война, обескровив пролетариат, укрепит позиции буржуазии и что Россия почувствует это особенно сильно. Нищая Россия за время войны еще больше обнищает, процесс классового расслоения в деревне усилится, в рабочую среду придет вчерашний собственник, крестьянин, и дезорганизует ее.

— Нам будет очень плохо, — сказал Горький. — Это еще с полбеды, если нас зажмут в тиски. Пусть меня жмут так, чтобы из меня живой сок брызгал и искра вылетала, а то ведь меня заживо и постепенно съедят...

Слушая Алексея Максимовича, можно было почувствовать, с какой болью, с какой мучительной тревогой он любит родину. В его благородных опасениях за будущее русского народа слышалось сознание необходимости противопоставить темным силам империализма силу человеческого разума и волю к сопротивлению. Из этого сознания и возник вскоре горьковский журнал «Летопись», направленный против империалистической бойни.

Стемнело. Зажгли лампу.

Овладев собой, Горький встал и пригласил гостей в свою рабочую комнату.

Часть ее занимал большой стол, покрытый темносерым сукном. На столе в образцовом порядке разместились необходимые для работы вещи. Было много зачиненных карандашей, их острия во все стороны торчали из лакированного стакана. Белели аккуратные стопки бумаги. Рядом стояли фотографии Льва Толстого и Чехова — обе с дарственными надписями. Книг в кабинете Алексея Максимовича было

немного. Комнату украшала привезенная из Италии картина Дюрера «Меланхолия». На картине была изображена коленопреклоненная женщина с распущенными волосами и грустным лицом.

Горький подошел к шкафу и достал из него небольшой ящик. В ящике были монеты и медали. Алексей Максимович сел и, склонившись над ящиком, захватил пригоршню металлических кружков — белых, желтых, темных.

Пересыпая их в ладонях, он сказал с легким оттенком гордости в голосе:

— Недурная коллекция! Все сам собрал.

Высыпал монеты обратно и стал показывать каждую в отдельности. Металлические кружки были памятниками разных исторических событий, отражением культуры давно исчезнувших государств.

Держа на ладони большую золотую монету эпохи Возрождения с чьим-то гордым профилем, Горький любовался изяществом чеканки, говорил:

— Посмотрите, как сделана эта головка! Какая благородная красота!

Золотую монету сменила кожаная гривна времени удельных князей.

— А вот это — совсем в другом роде...

В коллекции оказалась и серебряная медаль, изготовленная царским правительством в русско-японскую войну на случай победы над врагом. На медали были выбиты торжественно-нелепые слова: «Да вознесет вас господь в свое время!»

Усмехаясь, Алексей Максимович рассказал ее историю. Проект медали с надписью «Да вознесет вас господь» был представлен царю. Однако после Цусимы даже Николай Второй чувствовал, что выпуск медали лучше отложить до иной поры. Поэтому он написал на проекте: «В свое время». Резолюция оказалась рядом с изречением и была сочтена министром за добавление к нему.

Памятник самодержавной бестолковщины со звоном лег в ящик.

Летом, перед поездкой к Алексею Максимовичу, я бывал в Нижнем-Новгороде. Осматривая Нижегородский художественный музей, видел подаренные Горьким картины.

Так же, как монеты, Алексей Максимович собирал гравюры, старинные миниатюры, книги, а собрав, отдавал свои коллекции в музеи, библиотеки, картинные галереи.

Было удивительно, как широка, многогранна душа Горького, как его энергии хватало и на собирание предметов искусства, и на редактирование чужих рукописей, и на организацию различных изданий, — на десятки дел, каждое из которых оставляло глубокий след в русской жизни. Для той гигантской работы, какую делал Горький, нужны были необычайные силы. В эти дни и позднее мне приходилось слышать, как Алексей Максимович сравнивает других больших людей с былинными богатырями — Святогором, Василием Буслаевым. Но и сам он был богатырем. В том, как много он вместил в себя, как умел владеть своим временем, чувствовался человек будущего.

Гости ушли поздно.

Когда в доме наступила тишина, я из своей комнаты долго слышал раздававшиеся наверху размеренные шаги. Горький не спал — думал, работал.

В горьковских воспоминаниях о Л. Андрееве есть фраза: «Ему было почти недоступно наслаждение ночной подвижнической работой в тишине и одиночестве над белым чистым листом бумаги; он плохо ценил радость покрывать этот лист узором слов.»

Сам Алексей Максимович хорошо знал эту радость.

В Финляндии я увидел Горького великим тружеником.

Он сходил к завтраку и обеду молчаливый и рассеянный, светлоголубые глаза его были устремлены куда-то вдаль. Я видел Алексея Максимовича в том состоянии, которое он определил кратким выражением: «не в себе», — сосредоточенным, углубленным в свои мысли. Он молча пил кефир; развернув газету, читал, курил; барабанил по столу пальцами, думал о чем-то своем и снова уходил в кабинет. Снова наверху раздавались глухие мерные шаги.

Иногда после обеда Горький приглашал меня на прогулку. Стояли теплые ясные дни. По лесному озеру скользили лодки, в синем стекле воды отражались их паруса. В прозрачном воздухе плыли серебряные паутинки.

Мы шли краем широкого шоссе. По сторонам неподвижно стояли прямые, высокие сосны и поросшие мхом ели. У подножия их лежали серосиние и красноватые валуны. Мимо нас мелькали велосипедисты, резиновые шины эластично шумели по песку.

Алексей Максимович, в коричневой кожаной куртке, в черной широкополой шляпе и без привычной папиросы, шел легкой, спорой походкой странников, одним из которых

он был в юности. Заложив за спину руки, он смотрел на лес, на дорогу, на бежавшую впереди собаку. Мы сворачивали с шоссе, шагали полянами среди сизых кустов можжевельника и замшелых каменных глыб. Горький раздвигал загородившие тропинку ветви и говорил:

— Стихи в журналах обычно идут на затычку пустой страницы. При отборе стихов редактор почти всегда руководится соображением, достаточно ли известна фамилия автора. Это полезно знать каждому молодому поэту.

Обходя лежавший на пути большой камень, он прибавил наставительно:

— Держите всегда в памяти пушкинский завет «Поэту»: «Ты сам — свой высший суд; всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник?»

Почти все разговоры Горького со мной носили такой же воспитательный характер, как и письма. Мне было двадцать с небольшим лет. Мой жизненный и литературный путь только еще начинался. Я нуждался в добром слове большого умного человека. И Горький не отказывал мне в таком слове.

После бесед с ним всегда было над чем подумать. Снова два раза мне довелось испытать на себе требовательность Горького, источником которой была горевшая в его сердце любовь к литературе. «Взявшись за серьезное дело, растите скорей», — сказал он в письме, а «расти» означало: учиться, упорно работать над собой.

Гуляя с Алексеем Максимовичем, я спросил его о том, какого происхождения финские камни. Удивленный моим незнанием, он коротко рассказал о ледниковом периоде.

— Неужели вы не читали об этом? — с суровым упреком спросил Горький.

Сам он читал, знал, помнил, кажется, всё.

Алексей Максимович дал мне своей бумаги — несколько линованных листов обыкновенного формата; вертикальная линия делила каждую страницу на две неравные части: левая — широкая — предназначалась для текста, правая — для поправок и вставок.

На этой бумаге я переписал свою новую поэму. Закончив работу, я после обеда показал рукопись Алексею Максимовичу.

Положив ее на стол, Горький закурил папиросу и начал читать. С первой же страницы он нахмурился. Стало

ясно, что стихи ему не нравятся. Прикасаясь к рукописи толстым двухцветным карандашом, он говорил:

— Стиля не выдерживаете, сударь. Нет, словарь ваш для такой работы еще беден, недостаточен...

Чем дальше читал Горький, тем строже становилось его лицо, взгляд — отчужденнее, голос — суше.

С болью сердечной слушал я его слова, — с болью и за свою неудачу и за то, как тяжело переживает ее Алексей Максимович. Мне хотелось взять злополучную рукопись, спрятать ее подальше, но на ней лежала рука Горького. Его карандаш оставлял на бумаге деликатные точки, то красные, то синие. Дочитав поэму до конца, Алексей Максимович сказал с досадой:

— Жаль, что вы потратили труд и время так непроизводительно.

Зажег новую папиросу и, всё еще будто сердясь, заговорил о том, что поэту необходимо писать не только стихи, но и прозу.

— Возьмите французских поэтов. Во Франции каждый поэт для того, чтобы обратить на себя внимание, должен написать книгу рассказов. Отчего бы вам не попытаться написать рассказ?

Я ответил, что не имею того жизненного опыта, который необходим беллетристу.

Горький возразил:

— Ерунда, опыт есть. Начните писать — и увидите, что всё необходимое явится само собой.

Он немного помолчал, потом вдруг спросил:

— Вам нравятся стихи Сурикова?

Выслушав ответ, Алексей Максимович сказал, что учиться у таких поэтов, как Суриков, нечему, — учиться следует у Пушкина.

Проникнутые терпеливой покорностью тяжелой доле, взывающие к состраданию стихи поэтов суриковского типа были чужды бодрому, мажорному мироощущению Горького. Да и мастерства он здесь не видел.

Отрицательно отозвался он и о стихах Кольцова, — может быть, потому, что кольцовским ладом писали сотни начинающих поэтов, и Алексей Максимович хотел уберечь меня от подражания.

Но еще резче отзывался Горький о тех современных поэтах, которые, по его выражению, не писали, а «музыкантствовали». Он ревниво берег русский язык от засоре-

ния его «местными речениями» и словами придуманными, искусственными. Этих слов он терпеть не мог.

Я попросил Алексея Максимовича прочитать напечатанные в последней книжке одного журнала хорошие, по моему мнению, стихи. Взяв книжку, Горький начал читать. Наткнулся на слово «цевня» и остановился.

— Что такое цевня? — спросил он.

— Цевница, свирель.

— А я думал: цевочка серебряная к часам, — не без едкости усмехнулся Горький. И заодно пробежал глазами напечатанные рядом стихи о березке.

— Привязались к этой березке, — жестко сказал он. — Секли их часто, что ли, этой березкой?

Конечно, дело было не в березке, а в бессодержательности стихов, в тематической бедности, раздражавшей Горького.

Зато его отношение к Пушкину и Лермонтову было неизменно восторженным. Любовь Алексея Максимовича к великим русским поэтам осталась такой же, как в дни отрочества, когда он впервые испытал на себе волшебную силу книги.

— Вы послушайте, как это просто и прекрасно, — сказал он однажды и прочел:

На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною...

Алексей Максимович читал медленно, отделяя каждое слово и прислушиваясь к музыке стихов. По его лицу, просветленному и растроганному, по голосу, звучавшему мягко и глуховато, было видно, что, показывая мне эту жемчужину пушкинской лирики, он и сам любит ее благородной красотой.

И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может, —

повторил Горький. И вздохнул:

— Хорошо!..

А в другой раз, посмотрев раздумчиво на меня, спросил:

— Помните «Утес» Лермонтова?

И тоже прочел стихи:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана.
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя...

Он дочитал стихотворение до конца и сказал, поясняя свою мысль:

— Вот так всегда и во всем поэт должен искать тему для стихов.

Я знал, что у Горького — своя работа, и какая работа! Но в Горьком совершенно не чувствовалось эгоистического стремления оградить свой творческий мир от посторонних тревог и забот. Нет, он сам искал их, сам шел им навстречу. Как и всегда, он читал чужие рукописи, отвечал на письма молодых авторов, думал о них. Его глубоко-серьезное желание помочь мне я ощущал непрерывно, каждый день.

— Не попробовать ли вам себя в балладах? — предлагал Алексей Максимович. — Вроде тех, что Алексей Толстой писал. Почитайте-ка его!..

А то говорил:

— Лучше всего у вас выходят вещи, написанные в фольклорном стиле, и такие стихи, как «Кузнец». Вам нужно избрать одно из этих направлений и разрабатывать его.

Я показал Горькому новые свои строки и по его лицу старался угадать впечатление. Посмотрев на меня, Алексей Максимович сказал:

— Стихотворение о солдате-калеке настроением и размером слишком напоминает Некрасова, а вот об осени вы написали по-своему, и тут есть подлинное лирическое волнение...

О стихах, ритме, образе он говорил в эти дни неоднократно.

Показывая многокрасочные иллюстрации к былинам, Горький обратил внимание на подписи. Все они были написаны хореическим четырехстопным стихом.

— Такой размер годится для сказки о Коньке-Горбунке, — заметил Алексей Максимович. — Под него плясать хорошо, а к былинам он никак не подходит.

Он мельком взглянул на рисунок, изображающий озорные забавы Василия Буслаева, и произнес поучительно:

— Размерами надо пользоваться с толком.

Раз после вечернего чая Горький подал мне небольшую книжку в синей обложке — изданный под его редакцией «Сборник пролетарских поэтов».

— Тут есть неплохие стихи, — говорил Алексей Максимович. — Вот хотя бы эти...

Он наклонился над столом и отыскал нужную страницу.

Грачи по снегу, как монахи,
Гуляют чинно и галдят, —

прочел он и, весь как-то светясь, спросил:

— Правда, похоже?

Снова сел напротив меня и вкратце рассказал биографии некоторых участников сборника. Один из них, рабочий, писал особенно талантливо, но почему-то лишь ямбом.

— Вероятно, не знает о существовании других стихотворных размеров. Нужно будет познакомить его с теорией поэзии, послать ему книг о стихосложении...

Глаза Горького лучились улыбкой, низкий голос звучал тепло, слова дышали гордостью за рабочих поэтов, способных писать так хорошо.

В некрасовском «Современнике» мне встретилась поэма Шевченко «Гайдамаки». Узнав, что я прочел ее в неудачном русском переводе, Горький сказал:

— Шевченко нужно читать в подлиннике.

— А вы, Алексей Максимович, знаете украинский язык?

— Ну, еще бы! — чуть снисходительно воскликнул он. Сообщил, что знаком и с польским, что овладеть славянскими языками не трудно, и наставительно заговорил о том, что писатель должен быть образованным. Знать иностранные языки необходимо, это — ключ к мировой литературе.

Много позднее, просматривая записную книжку, которая сопутствовала мне в дни пребывания у Горького, я нашел на одной из страниц столбик торопливо набросанных строчек, — список книг. Мне продиктовал его Алексей Максимович. Был послеобеденный час. Мы сидели в столовой. Сгущались осенние сумерки, и я спешил записать названия книг, которые среди разговора начал перечислять Горький:

— Прочитайте Гиббона — «Историю упадка и разрушения римской империи». Читайте «Русские сказки» Афанасьева. С историей русской литературы можете познакомиться по работам Пыпина и Келтуялы. А иностранные языки лучше всего изучать по самоучителям Туссэна и Лагенштедта.

Вспоминаю другой вечер, вой ветра в трубе, облитые дождем темные окна, мягкий свет лампы, синие волны табачного дыма, песенку самовара, к которому мы, за отсут-

ствием хозяйки, сами подходили со стаканами. Вспоминаю глухой кашель Горького, его устремленный на меня взгляд, внимательно присматривающийся и вместе с этим полный той серьезной думы, которую я заметил в нем раньше. И эта же дума о моей судьбе слышится мне в голосе Алексея Максимовича:

— Вам было бы полезно подольше пожить в Москве, войти в среду городского пролетариата, постараться понять взаимные отношения людей и силы, управляющие их жизнью. Суматоха больших городов, пожалуй, неприятная вещь, но бывает полезно пожить в них, особенно поэту. Это обостряет...

Он спрашивал, завел ли я в Москве друзей, ходил ли в театры? Когда на второй вопрос я ответил отрицательно, Алексей Максимович нахмурился и сказал укоризненно:

— Как же это вы?..

Но скоро смягчился. Пытаясь заглушить чувство неловкости, я заговорил о своем долге Алексею Максимовичу, о том, что, пожалуй, не скоро смогу отдать ему тех денег, которые получал в Москве.

— Ну, об этом вы не беспокойтесь,— потеплев, ласково сказал Горький.— Вот выйдет книга ваших стихов, вы прославитесь, разбогатеете и тогда отдадите свой долг,— пошутил он.

Иногда Алексей Максимович возвращался к воспоминаниям о загранице, о сердечности и общительности тех людей труда, которых он изобразил в своих «Сказках об Италии». Если у кого-нибудь из них радость, то ее празднуют и соседи. Такое событие, как приезд на родину студента, окончившего учение, становится общим торжеством. В городке вывешиваются флаги, и будни превращаются в праздник.

Слова Горького были о дружбе, радости, солнце, «творящем сказки».

Казалось, что частица этого солнца осталась и в нем самом, согретья его густой голос, озаряя улыбкой лицо.

— Двое моих знакомых зашли в таверну,— негромко говорил Алексей Максимович, облокотившись о стол.— Заняли места. Рядом сидела компания рабочих. Один из них, пожилой, горбоносый, в красной феске с кистью, услышав непонятный говор, подходит к русским и спрашивает: «Сеньоры — иностранцы?» — «Да, русские». — «О, рус-

ские! Мы знаем и любим русских. Мы просим сеньоров присоединиться к нам». Столики были сдвинуты вместе. Пред русскими появился кувшин красного вина, подарок хозяина таверны. Смуглые подвижные люди устроили в честь гостей целый пир. Скаля белые зубы, они дружелюбно улыбались русским, пили за их здоровье, выкрикивали приветственные слова. В этом маленьком эпизоде было столько милого, человеческого!..

Горький повертел в руках спичечную коробку и, положив ее на скатерть, с воодушевлением заговорил о музеях, где собраны художественные шедевры мирового значения, о том, сколько сотворенной человеком красоты рассеяно на земле.

— Поэту, сударь мой, не мешает знать всякие виды искусства!..

А. Н. Тихонов дал на просмотр Горькому начало своей новой повести «Доля». Отзыв был благоприятный. Перелистывая рукопись, Алексей Максимович говорил:

— Превосходно изображен у вас «Пожар». В главе «Рождение» тоже много хорошего.

Сделав обстоятельный разбор прочитанного, он спросил:

— А вы как работаете: регулярно?

И посоветовал:

— Писать надо каждый день в одни и те же часы. Попробуйте. Это быстро войдет в привычку. Когда придет время, вас уже само собой будет тянуть к столу. А пропустите свой рабочий час — и почувствуете, что вам чего-то недостает.

Однажды, когда пришли Тихоновы, Горький вынес из своей комнаты тетрадку, изрисованную его характерным почерком. В ней были новые рассказы.

Алексей Максимович сел к столу, перевел взгляд на рукопись и приступил к чтению.

«...В ту пору я чувствовал себя очень шатко и ненадежно. Земля подо мною вставала горбом, как бы стряхивая меня куда-то прочь...

А все-таки хотелось жить, видеть чистое, красивое: оно существует, как говорили книги лучших писателей мира, — оно существует, и я должен найти его...»

Горький читал просто, очень внятно и по-своему выразительно. Рассказ о неудачной попытке молодого романтика найти «человека, похожего на тех, о которых рассказывали

хорошие книги», брал за сердце силой своих невольно запоминавшихся образов и своеобразным, несколько грустным юмором.

Другая вещь называлась: «Как сложили песню».

Слушая Алексея Максимовича, я вспомнил недавний разговор с ним о фольклоре.

Я сказал тогда, что книга, письменность вытесняют устное народное творчество — былину, песню.

Горький возразил:

— А стихи, напечатанные в книге, разве не народное творчество?

Он утверждал, что творчество народа продолжается непрерывно и никогда не иссякнет.

Рассказ о том, как две прислуги в наше время сложили песню, был для меня как бы художественным подтверждением мысли, высказанной Горьким в разговоре.

Дочитав последнюю страницу, Алексей Максимович обвел слушателей взглядом и спросил:

— Ну, что?

Тихонов сказал:

— Тут у вас сидит на заборе ворона. Я бы вычеркнул ее, — слишком уж она горьковская и, пожалуй, не в первый раз косится бусиной глаза.

Горький промолчал, но с замечанием, видимо, не согласился. Ворона в рассказе осталась.

Варвара Васильевна перевела прозой стихи из книги Ж. Тьерсо «Празднества и песни французской революции», подготовлявшейся к изданию на русском языке. Этим подстрочным переводам я должен был придать стихотворную форму.

Наклонившись над тетрадкой с переводами, Горький прочел вслух: «Слава тому, кто выделывает селитру», — и заметил:

— Нелегко уложить в стихи такую фразу.

Под усами пробежала легкая усмешка:

— Маяковский, наверно, перевел бы: «слава селитроделателю».

Собиравший вокруг себя писателей, Горький знал не только имя, но и поэтический стиль молодого Маяковского. Поэт был у него на счету, — через несколько месяцев в «Летописи» начала печататься поэма «Война и мир». Но Горький помнил фамилии и таких авторов, как владимирский гимназист, одаренный поэт Павел Соболев, книжечку кото-

рого — перевод «Слова о полку Игореве» — я показал Алексею Максимовичу в Финляндии.

Через три с лишком года в Москве он спросил:

— А где теперь Соболев?

Вопрос дает представление и о колоссальной памяти Горького, и об его исключительном интересе ко всему литературному. Это был страстный интерес работника, влюбленного в свое дело, волевой, активный интерес строителя новой литературы, писателя-революционера.

Алексей Максимович неутомимо собирал вокруг себя писателей, «способных работать честно». Когда он в вечернего приезда убеждал Терьяна писать по-русски, на языке многомиллионного народа, — это говорил собиратель писательских сил, для которого литература — орудие воздействия на сознание читателя.

Свое понимание агитационной силы художественного слова Горький выразил и в статье о книге, — о книгах, которые сочиняют писатели, — взяв эпиграфом к этой статье строки «Стиха о книге Голубиной»:

Мы про книгу славу поем,
По Руси та слава не минуется.

Он любил книгу идейно насыщенную, пробуждающую сознание читателя. Встретив в каком-то альманахе знакомое литературное имя, Алексей Максимович похвалил:

— Умница. В каждой новой повести ставит новую проблему — и всегда важную, большую...

Книга может воодушевить на подвиг, и книга же может отравить ядом безволия, тоски, дыханием пошлости.

Горький страстно желал умножить число хороших, нужных книг и стремился уменьшить действие книг вредных, отравляющих.

Запомнилось, как, наклонившись над свежим номером «Журнала журналов», он просматривал чью-то рецензию о недавно вышедшем дневнике толстовца Ив. Наживина. Рецензия называлась: «Ушибленный Толстым».

— Метко сказано, — одобрительно усмехнулся Алексей Максимович. И бегло прочел несколько приведенных в журнале строк дневника. От них шел нехороший душок ханжеского лицемерия.

В ту пору Горький и сам высказался в печати о произведении «ушибленного Толстым» беллетриста.

«Мне кажется, — писал он, — читателю должно быть

ясно, что в лице Наживина он имеет дело с одним из многочисленных русских привередников, которые, скуки ради, объявляют себя праведниками» («Издалека»).

Литература была главной темой его разговоров. Если Толстой, по свидетельству Горького, неохотно беседовал о литературе, то сам он постоянно испытывал потребность говорить о том деле, которое считал главным для себя.

Однажды Алексей Максимович упомянул о своей незаконченной повести «Мужик». Начало повести было напечатано в журнале «Жизнь». Редакция ждала продолжения, но автор молчал. Каково же было его удивление, когда продолжение все-таки появилось! Его прислала какая-то писательница. Мистификация выяснилась только после того, как присланное было набрано типографией.

Говоря о своих неосуществленных замыслах, Горький вспомнил:

— Собрал всю литературу о Степане Разине, хотел писать роман...

Яркий и колоритный образ атамана волжской вольницы, несомненно, привлекал Горького-художника. Тем не менее, роман Горького о Разине остался ненаписанным.

Как художник, Горький любовался гигантской фигурой Федора Шаляпина. Написанная в форме повести шаляпинская «Автобиография», по фактам во многом родственная жизненному пути Горького, через некоторое время появилась в «Летописи». Алексея Максимовича в Шаляпине восхищал его громадный талант, соединенный с русским безудержным размахом. Горький говорил:

— В Шаляпине живет душа Василия Буслаева. Ему бы чугунную шальгу да новгородскую улицу! Это — стихийная, не признающая препятствий сила...

Нередко Алексей Максимович говорил что-нибудь вне связи с основной темой беседы. Этими неожиданными для присутствующих утверждениями или отрицаниями он отвечал на свои думы. Чувствовалось, что в нем непрерывно происходит напряженная работа мысли.

После какого-то литературного разговора, глядя в окно, за которым колыхались желтые ветки, Алексей Максимович произнес:

— Нет, разум выше сердца, мысль надежнее, чем чувство.

В другой раз, так же внезапно, он заговорил о Христе

и Прометее,— о том, что для него Прометей, как нравственный идеал, выше и нужнее Христа.

Приехали Пришвин и Ладыжников.

Иван Павлович Ладыжников, осуществлявший, как и Тихонов, издательские планы Алексея Максимовича, был крупен, полон, белокур. Писатель и охотник Пришвин — невысок, изящно сложен; казалось, что в его матовом лице с темными глазами и черной курчавой бородой есть что-то от земли и лесной чащи.

Встреча была шумная и радостная.

Перед этим несколько дней шли дожди, но с приездом гостей погода неожиданно прояснилась, засияло солнце, заголубело лесное озеро.

Подойдя к окну, Горький сказал с улыбкой:

— Нынче день, как новенький гривенник...

Подумал и прибавил:

— ...Или как только что произведенный подпрапорщик.

На столе появился самовар. Алексей Максимович достал откуда-то пузырек, в котором было немного спирта, добавил в пузырек воды и разлил редкий по военному времени напиток в крохотные рюмки.

Он был рад гостям. Шутил:

— Лет через двести, вероятно, не нужно будет читать книг. Люди найдут способ передавать свои мысли как-нибудь иначе,— например, переливать их друг в друга в виде жидкости. Романы и повести будут пить рюмками.

Говорили о литературе, о писателях.

— Много пишите рассказов?— ласково спросил Пришвина Алексей Максимович.

— Нет, мало.

— Почему же?

Пришвин объяснил, что весь материал, который он накапливает, как художник, уходит у него на работу для газеты, на маленькие очерки. Он хорошо знал среду петроградских символистов и, отвечая на вопрос Горького: чем сейчас живет литературный мир?— рассказал любопытные вещи. По его словам, почтенные литераторы на втором году войны занимались религиозно-философскими исканиями, увлекались спиритизмом. Вертели в темной комнате столики, вызывали «дух» Наполеона и спрашивали: «Когда кончится война? Кто победит?» Не помню, что отвечал Наполеон.

Горький слушал очень внимательно. Я видел его лицо в полупрофиль. Оно было серьезно и несколько грустно.

Затем Алексей Максимович с неожиданной страстью заговорил о том, что он не верит в бога, не может признать его бытия. Бог — абсурд, бессмыслица, это можно доказать логическим путем. Если во вселенной существует некто всемогущий и всеблагой, то почему он не избавит человечество от страданий?

Голос Горького звучал глухо, на глазах заблестели слезы, протянутые вперед руки дрожали от волнения.

Потом он, окружая себя облаками папиросного дыма, вспоминал Чехова, Каронина-Петропавловского, которого называл «одним из честнейших русских людей, святым человеком».

Горькому нравилось перебирать в памяти образы прошлого, разглядывать их, как он разглядывал гравюры или старинные монеты. Казалось, что он рассказывает не только для слушателей, но и для себя. Может быть, устная передача воспоминаний была подготовкой к передаче их на бумаге. Как морская волна обтачивает и шлифует камешки, так Горький, говоря о писателях прошлого, гранил и шлифовал те бриллианты, которые потом засверкали в его книгах.

Монеты были тоже показаны гостям в тот вечер.

Сидели наверху, в комнате Горького.

Алексей Максимович придвинул к себе стоявший на столе портрет Толстого и сказал, любовно усмехаясь:

— Толстой — он весь от Востока. Эта рамка с драконами так идет к нему!

Взглянул на соседний портрет Чехова в простой, без украшений, оправе и договорил:

— Вот Антон Павлович — совсем другой. Тот был европейцем с головы до пят.

Чехова он вспоминал особенно часто, вспомнил и на следующий день. Это вышло так. Во время завтрака, просматривая свежую почту, Алексей Максимович встретил в «Журнале для всех» маленький рассказ А. Неверова «Страх». Написанная в чеховской манере, эта вещица так понравилась Горькому, что он прочел ее гостям вслух.

В рассказе говорилось о том, как любопытная псаломщица, подглядывая ночью в полузанавешенное окно церковно-приходской школы, увидела, что новый учитель жжет в печке какие-то бумаги. Решив, что бумаги — «за-

прещенные», она рассказала о своем открытии мужу, а тот — священнику. Священник пошел в школу и заметил на столе учителя портрет Льва Толстого. Стало ясно, что новый учитель — «из красных». Тревожный слух дошел до благочинного. За учителем началась слежка. Стараясь изобличить «красного» педагога, батюшка на уроке закона божия спросил учеников старшего отделения, что они знают о Льве Толстом?

«...Ребята смотрели на батюшку удивленно. Влетит им за Толстого. Не иначе, это пророк был вроде Ильи с Елисеем, а они забыли. Самый бойкий поднял руку. Вслед за ним подняли руки и еще несколько человек.

О. Григорий торжествовал.

— Ну, вот и вспомнили. Расскажи нам, Козин!

Ободренный Козин весело начал:

— Пророк Толстой был праведной жизни, писал божественные книжки...

О. Григорий закричал:

— Кто? Кто? Пророк? Разве он пророк?

Козин поправился:

— Царь!

— Врешь, дурак, и не царь. Какой он царь? Граф! Где он жил? Ну-ка ты, девочка, помнишь?

Заикаясь, тоненьким голоском девочка запела:

— А... г...граф Толстов жил в царстве иудейском...»

Дочитав рассказ, Горький сказал с улыбкой, радостной и в то же время немного грустной:

— Вот он, милый Антон Павлыч!

С приездом гостей трудовой распорядок его дня не изменился. После завтрака Алексей Максимович попросил Ладыжникова, который собирался в лавочку за папиросами, опустить в почтовый ящик письмо. До обеда он, как всегда, писал, а после обеда и хозяин и гости, пользуясь ясным днем, пошли гулять.

Горький и Ладыжников неторопливо шагали по шоссе. В колеях с дождевой водой отражалось чистое небо, от леса пахло сырым мхом и хвоей.

— Не поискать ли грибов? — предложил Алексей Максимович.

Сошли с дороги и побрели кто куда.

В лесу было тихо. Где-то недалеко перекликались Горький и Ладыжников. Я заглядывал под ёлки, раздвигал кусты можжевельника, срывал крупные, словно горох, спе-

лые ягоды брусники. Под одной елью нашел крепкий белый гриб. Начинало темнеть. Глухо шумели вершины деревьев. Боясь заблудиться, я аукнулся. В ответ совсем рядом послышался низкий голос Горького.

Мои спутники грибов не нашли. Возвращались домой в сумерках.

В одном месте Горький остановился и указал на большой дом, угрюмо темневший в стороне от дороги.

Это была дача журналиста Фальковского. Алексей Максимович назвал имя Леонида Андреева. Андреев бывал на даче Фальковского в качестве гостя. Сейчас в сумерках дом был декоративно-мрачен, как театральные «ужасы» андреевских книг.

Горький улыбался, но в улыбке чувствовалась боль. Мировая война сделала Андреева публицистом ура-патриотического направления. Вероятно, Горькому нелегко было наблюдать падение человека, в котором он когда-то видел «единственного друга в среде литераторов».

Вечером собрались вокруг лампы. Толковали о новом журнале с «пораженческой платформой». Намечали будущих сотрудников, советовались, какие завести отделы, как назвать журнал. Добровольный секретарь этого негласного совещания, Варвара Васильевна записывала предложения. Названия для журнала не придумали, — оно родилось позднее. Первая книга «Летописи» вышла через два месяца, но она уже виделась собравшимся за столом — пахнущая свежей типографской краской, яркая, волнующая.

В этот вечер Горький был весел, полон энергии.

Вспоминая свою прежнюю журналистскую работу, он предвкушал радость нового дела, новых битв. Шутил бодро:

— Поставим вместо столов и стульев фанерные ящики, вместо скатертей настелем газет. Тут — рукописи, там — чайник с кипятком. Будем писать и целый день чай пить...

В Петрограде готовилось какое-то собрание, на котором Горький должен был выступить с речью. Живя в финской деревне, он не прекращал своей общественно-революционной деятельности. По его почину создавались общества для помощи жертвам войны, для борьбы с попытками темных сил разжечь среди населения национальную рознь. Алексей Максимович редактировал литературно-художественные сборники, направленные в защиту национальных меньшинств, собирая вокруг себя «людей честного слова», пе-

редовых литераторов. Связанный дружбой с В. И. Лениным и совместной работой с партией большевиков, Горький первый из русских писателей поднял протест против империалистической войны.

— Надену черный сюртук, — усмехаясь, говорил Алексей Максимович заглянувшему вечером Тихонову, — выйду на трибуну и начну читать по рукописи: «Милостивые государины и милостивые государи»...

Незадолго до поездки к Горькому мне пришлось быть очевидцем ужасной картины.

В те дни на иваново-вознесенских фабриках произошли волнения. Война утомила рабочих, рост дороговизны приводил их в отчаяние. В рабочих поселках было разбросано воззвание большевистской организации, призывавшее превратить империалистическую войну в гражданскую. Листовки попали в руки полиции. Начались аресты. Ткачи вышли с фабрик требовать освобождения арестованных товарищей. На пути к тюрьме безоружная толпа была встречена залпами солдатских винтовок. Мостовая покрылась десятками убитых и раненых. Ночью полиция развозила их по лечебницам, по моргам.

Помню теплый предосенний день, двор земской больницы. Возле больничного крыльца, прямо на земле, лежало несколько трупов. Это были умершие от ран. В воротах ограды стояли солдаты с ружьями, впускавшие народ для опознания мертвых.

Светило нежаркое солнце августа, шелестела засыхающая листва деревьев в больничном садике.

По застывшим лицам расстрелянных ползали мухи. На ситцевых рубашках, на поношенных жилетках и пиджаках запеклась почерневшая кровь. Прохожие молча смотрели на убитых. Некоторые плакали. Я тоже стоял у крыльца больницы, вглядываясь в лица и фигуры расстрелянных рабочих. Их будничная одежда, их трудовой облик еще больше подчеркивали то страшное, что лишило их жизни. Сквозь ужас и сердечную боль поднималась ненависть к убийцам. Страстно верилось в возмездие, в революцию.

И — казалось, что возмездие недалеко. Под ударами войны в народе что-то бродило, назревало.

Когда я ехал к Горькому, в вагонах нашего поезда было много солдат. Напротив меня сидел пожилой человек в шинели с погонами рядового и георгиевским крестом, белевшим на груди поверх жесткого серого сукна. У солдата бы-

ло темное, обросшее бородой лицо с живыми глазами, заскорузлые руки с короткими пальцами, которые ловко свертывали цыгарку. Он негромко говорил о фронте, об изменах и продажности высшего начальства, о воровстве интендантов.

— Вот кончится война, — уверенно сказал солдат, — заплатят они народу, за всё заплатят!..

О солдате я рассказал Горькому. В тот день он был задумчив и сосредоточен на чем-то своем. Но когда я повторил слова солдата, лицо Горького оживилось. Словно стряхнув с себя что-то, он с интересом взглянул на меня, одобрительно кивнул головой и снова ушел в свои творческие думы.

Собираясь в дорогу, Алексей Максимович сказал мне, когда мы увиделись вечером в столовой:

— Я должен уехать отсюда на некоторое время. Вы поживите здесь без меня, с книгами. Я скоро вернусь.

Перспектива остаться одному, без собеседника, испугала меня.

В доме по-русски говорила только беленькая горничная, подававшая нам обед, а перед ней я робел в десять раз больше, чем перед Горьким. Главной причиной смущения была моя всё еще обвязанная щека. Лавочник-финн, у которого я покупал папиросы, знал по-русски только числительные. Кроме того, меня тревожило опасение стать в тягость Алексею Максимовичу, — я жил у него уже дней десять. Поэтому я решил тоже поехать с ним.

В утро отъезда в мою комнату вошел русобородый человек в фартуке, стекольщик, промазать на зиму оконные рамы. Привычно действуя стамеской, он вдруг обернулся ко мне.

— Трудится Алексей Максимович, — сказал он тепло и уважительно, кивнув на потолок: — Из нашего брата вышел...

Он чувствовал в Горьком своего, близкого человека.

В стекла брызгал дождь. В столовой я встретился с Горьким. Мы сели завтракать.

— Пишите для нового нашего журнала, — говорил Алексей Максимович. — Французские переводы постарайтесь сделать поскорее. Когда закончите, я пришлю вам финские и шведские подстрочники. Подберу для вас книг...

Очень хорош был он в то утро. Надо сказать, что в предшествующие дни, видя Горького занятым, я, из опасения помешать, старался обращаться к нему поменьше, пореже. К тому же мне было известно, что я не один отнимаю время у Алексея Максимовича. К нему обращались десятки пишущих. «Прозу еще не успел прочитать, за месяц мне прислали 47 рукописей»,³ — писал он с Капри. Теперь, на прощание, Алексей Максимович держался со мной любезным хозяином.

Он словно раскрылся, — снова заговорил о Финляндии, о жизни и быте финских рабочих, видимо, желая дать на прощание мне, молодому, как можно больше материала для размышлений и сопоставлений.

Я спросил Алексея Максимовича, каким образом написались у него такие вещи, как стихотворение о рыбаке и фее, «Песня о Буревестнике»? Почему в этом же стиле писал и Скиталец?

— Время было такое, — объяснил Горький. — А вам нравятся стихи Скитальца? В них много моих строчек, особенно в стихотворении «Кузнец».

Отодвинув допитый стакан, он поинтересовался:

— А как действует на вас Леонид Андреев?

И, узнав, что первые рассказы Андреева, свежие и непосредственные, понятней и ближе мне позднейших сочинений этого писателя, одобрительно кивнул головой.

Затем Алексей Максимович сказал, что показывал мои стихи Бунину. Лицо Горького освещала хорошая бодрящая улыбка. Он достал папиросу, вышел из-за стола, пересел в кресло и закурил.

Меня интересовали творческие замыслы Горького. Он отвечал, что собирается написать большую повесть, и тут же просто и охотно начал рассказывать ее содержание. Продолжая говорить, он встал и подошел к окну. За окном качались на ветру мокрые деревья; лесное озеро и горизонт скрылись за плотной завесой осенней мглы.

Горький повернулся и, засунув руки в карманы, прошелся по комнате. Заметив, что я кашляю, он спросил с тревогой в голосе:

— Что это у вас?

Слегка горбясь, Алексей Максимович сидел у окна. В пальцах правой руки он держал папиросу, от нее тонкой сизой струйкой поднимался дым. Я глядел на струйку, на лицо Горького и слушал его глуховатый говор:

— Теперь все научились писать хорошо. Техника письма стоит очень высоко. Почти все — талантливы. Но всё это — не то. Нам нужен гений. Наша страна еще очень молода, она весьма недавно начала жить культурной жизнью. У нас должен появиться гениальный писатель-демократ, великий народный поэт!..

Вошла горничная и сказала, что можно ехать.

Мы надели непромокаемые плащи, вышли на улицу и сели в тарантас. Кучер-финн тронул вожжами лошадь. Горький молча смотрел из-под резинового капюшона на красную ленту шоссе, на мокрый лес. Дождь то затихал, то снова усиливался.

Случилось так, что когда подошел поезд, мы сели в разные вагоны.

В густой толпе пассажиров, наполнивших большой вокзал в Петрограде, я не увидел Горького. Было обидно, что не удалось проститься с ним.

Купив открытку, я написал в ней всё, что должен был сказать Алексею Максимовичу, и, успокоенный, поехал домой.

Французские стихи я перевел, но мне казалось, что переводы неудачны. Посылая их Горькому, я выразил опасение, что вряд ли они пригодны для книги. Он отвечал:

«Стихи переведены Вами, Д. Н., вовсе не плохо, Вы — молодец.

Скоро вышлю Вам финских и латышских стихов.

Книги тоже высылаю.

Не написали ли чего? Пришлите.

Страшно занят.

Адрес помните?

Лиговская, 44, кв. 110.

Будьте здоровы, милый!

Денег не надо ли?»¹¹.

Через несколько дней я получил подстрочные переводы финских стихов. Кроме них, в конверте было письмо Горького:

«Милый Дмитрий Николаевич!

Посылаю вам для перевода 5 финских стихотворений, будьте добры отнестись к этой работе со всем вниманием, очень прошу Вас об этом!

Ваши переводы французских стихов всем нравятся.

Так хотелось бы, чтобы Вы нашли удовольствие в переводах. Скоро пришлю еще латышские стихи.

Будьте здоровы!

Если нужно денег — напишите...»¹².

Переводы финских стихов предназначались для «Сборника финляндской литературы», который входил в серию затейных Горьким сборников художественной литературы живущих в России народов.

С финскими переводами я задержался. Моя медлительность вызвала со стороны Горького напоминание:

«Дмитрий Николаевич, сообщите, в каком положении стихи, посланные Вам для перевода, и если они готовы, — высылайте их.

Адрес:

Петербургская сторона, Большая Монетная, 18, ред. журнала «Летопись».

Присылайте своих стихов.

Как живете?...»¹³.

Письмо Алексея Максимовича запоздало, пробыв в пути, по прихоти почты, ровно месяц. Помнится, к моменту получения письма переводы были уже сделаны и отправлены.

Оказалось, что Горький давно послал мне обещанные книги, но они почему-то вернулись назад. Это явствовало из следующих строк:

«Дмитрий Николаевич!

Сегодня почта возвратила пакет книг, посланных Вам и не полученных Вами, хотя по сведениям почтовой конторы повестку Вы получили. Удивляюсь.

Что делать с книгами? Напишите. Давайте стихов, лентай.

Будьте здоровы!...»¹⁴.

По моей просьбе Горький послал книги вторично. На этот раз они дошли. Крепко запомнился зимний солнечный день, когда я нес их со станции, где находилась почтовая контора. Дома всё было десятки раз перечитано, — тем дороже казался горьковский подарок. Разорвав плотную серую бумагу, в которую были запакованы книги, я нашел целую библиотечку. Тут были: три тома «Песен», собранных П. Н. Рыбниковым, Бялик — «Песня и поэмы», В. Г. Короленко — «Очерки и рассказы», М. Горький — несколько томов, вышедших в книгоиздательстве «Жизнь и знание», и сброшюрованный журнальный оттиск рассказа «Пожар».

Через несколько месяцев, когда я поступил на «должность», мои серенькие чиновничьи будни так же скрасила полученная от Горького «Летопись» — все вышедшие к этому времени номера журнала.

Во Владимире жил писатель Яков Евдокимович Коробов, человек редкого обаяния и большого сердца, в прошлом — штукатур.

Когда я, будучи семинаристом, принес в редакцию газеты «Старый Владимирец» стихи, работавший там Я. Е. Коробов горячо расхвалил меня, пригласил к себе на квартиру. После семинарской забастовки он, рискуя навлечь на себя преследования начальства, принял отеческое участие в судьбе исключенных из семинарии. Товарищи, обращавшиеся к нему, находили в его тесной квартирке временный приют и нравственную поддержку.

Я. Е. Коробов писал стихи и рассказы из деревенской жизни, помещая их в «Старом Владимирце». Мне казалось, что рассказы Коробова достойны напечатания не только в маленькой провинциальной газетке. Летом 1916 года я послал газетную вырезку с рассказом Я. Е. Коробова Алексею Максимовичу.

Он быстро, как всегда, ответил:

«Коробов — интересен. Предложите ему написать несколько маленьких рассказиков и пускай пошлет мне,— может быть, годятся для «Летописи».

Обратите его внимание: пишет он небрежно и порою неправильно,— «гнездов» вместо «гнезд». Не нужно злоупотреблять местными речениями. Наиболее меткие — это хорошо, но — надобно пользоваться ими умело.

Есенин написал плохую вещь, это верно.

Как Ваши стихи?

Вчера только приехал из Крыма.

Как здоровье Ваше? Поправились ли за лето?...»¹⁵.

Произведение Есенина, упоминаемое в письме Алексея Максимовича,— повесть «Яр», напечатанная журналом «Северные записки».

Коробову Алексей Максимович прислал отдельное письмо. Но, кажется, занятый газетной работой, Я. Е. Коробов ничего не написал для «Летописи». В большую литературу он вошел значительно позднее, с переездом на жительство в Москву.

Помня совет Горького писать прозой, я и сам сочинил рассказ. Отправляя его Алексею Максимовичу, я привел

в письме несколько услышанных в деревнях частушек о войне. В них уже чуялся гром надвигавшейся народной грозы. Частушки были такие:

Как не хочется к Романову
В работнички идти!
У Романова работников
Сажают на штыки.

Николаю в пузо ножик —
Безо время нас тревожит,
Безо время, без поры
Нас на бойню повели.

Найди, туча, найди, гром,
Разрази казенный дом.
В том дому убей того,
Кто забрил дружка мово.

Горький отвечал:

«Рассказик вышел у Вас весьма недурно, будет напечатан. Попробуйте написать еще.

Спасибо за частушки, это интересно.

Вот что. Не напишете ли Вы два-три стихотворения для детей? Книгоиздательство «Парус», в котором я участвую, издает «альманах для детей» — небольшой сборник рассказов и стихотворений. Попробуйте!

А также давайте стихов для литературного сборника «Парус», который мы составляем.

Работайте больше, читайте, учитесь! Толк будет!

Жму руку...»¹⁶.

Это письмо было прислано уже по новому адресу, — с осени я сделался «вольнонаемным канцелярским писцом» Иваново-Вознесенского государственного банка.

В Иваново-Вознесенске я жил одиноко.

Людей с литературными интересами поблизости не было, если не считать некоего поэта-парикмахера. В окнах его парикмахерской для привлечения клиентов были выставлены выгоревшие на солнце брошюры со стихами хозяина. Самого поэта — дородного краснолицего мужчину, страдавшего пристрастием к спиртным напиткам, — можно было встретить в ближнем трактире. Там я с ним и познакомился.

Несмотря на отсутствие литературной среды, я не чувствовал себя оторванным от писательского мира. Алексей Максимович будто знал, в чем я сейчас особенно нуждаюсь.

Вскоре после своего поступления на службу я получил присланный по почте комплект журнала «Летопись», где печатались и мои вещи. Почти в каждой книжке журнала встречалось новое имя,— Горький смело вводил в литературу молодых писателей. Многие из них впоследствии стали крупными мастерами слова.

Война продолжала истощать страну. С фронта каждый день везли раненых. Жизнь становилась скуднее. Бродя иногда по городу, я видел, как в рабочих районах возле бакалейных лавок озлобленно шумит и волнуется фабричный народ.

Наступила зима. В феврале разразился гром, который призывала частушка,— пришла революция.

В эти бурные дни, в семнадцатом году, я получил следующее предложение Горького:

«Дмитрий Николаевич!

Если у Вас есть стихи,— пришлите для сборника, в котором кроме Вас будут печататься Есенин и др.

Присылайте больше...»¹⁷.

Письмо было адресовано делопроизводителю городской управы, в которого я превратился, уйдя из банка.

Стихи я писал. Я писал их и дома и даже на службе в ущерб своим канцелярским занятиям.

Делопроизводитель из меня не вышел.

Скоро я поступил в редакцию новой газеты «Рабочий край», нуждавшейся в литературных силах. О своем переходе я сообщил Горькому весной 1918 года при посылке каких-то стихов.

Он отозвался на мое послание такими строчками:

«Очень рад получить весточку о Вас, Д. Н.! Подолгу Вы молчите!

«Летопись» давно закрыта... Стихи Ваши частью пойдут в журнале «Вестник свободы и культуры», а часть — возвращаю.

Третья строфа «Марсельезы» — слаба, рушник и брага — неуместны после зарева, знамен и т. п.

Сегодня еду в Москву на неделю, очень занят!

Будьте здоровы, дорогой!

Пришлите книжку...»¹⁸.

Книжка, которую просил прислать Алексей Максимович, была, вероятно, одним из сборников, свидетельствовавших о рождении в Иванове, вокруг «Рабочего края», своей литературной жизни.

Работа в газете отвечала моим поэтическим устремлениям больше, чем всякая другая. Порой она заряжала яркими волнующими впечатлениями. Летом восемнадцатого года мне пришлось побывать в качестве корреспондента в только что освобожденном от белых Ярославле. В городе еще гремели последние выстрелы и курились пожарища. Из Ярославля я и мой товарищ по газете возвращались вместе с отрядом ивановских рабочих-большевиков. От них пахло порохом и веяло грозной романтикой гражданских битв.

Получил я из Петрограда сборник для народа «Пробуждение», изданный под маркой общества «Культура и свобода». В нем были напечатаны пять стихотворений, отобранных Алексеем Максимовичем из моего предыдущего присыла. Дальше шли рассказы Вяч. Шишкова, самого Горького, публицистические и научные статьи.

Конец восемнадцатого года принес новые строки Горького:

«Дмитрий Николаевич!

Очень рад, что получил Ваше письмо, давно собирался написать Вам.

Издание текущей художественной литературы я налаживаю, будем издавать ее сборниками. Это, вероятно, скоро осуществится...

К Вам у меня есть просьба...»

Дальше Алексей Максимович предлагал мне работу для серии задуманных им сборников. Работа заключалась в переложении старинных поэтических текстов на современный язык.

«Надо взять из прошлого все лучшее, все прекрасное, что там есть, и пустить это в широкий оборот. Так?

Отвечайте скорее, берете ли на себя эту работу? Я уверен, что Вы должны сделать ее и охотно, и хорошо.

Как живете? Читал Ваши стихи в воронежской «Сирене».

Будьте здоровы...»¹⁹

Месяц спустя Горький снова писал о переложениях, которые я взялся выполнить:

«Милый Дмитрий Николаевич!

С переводами... можете не очень торопиться, но — пожалуйста, считайте это дело — делом важным и очередным! Очень прошу!..

Вот так-то, дорогой мой!

Переводы — купно с основным текстом — направляйте в двух экземплярах, один по адресу: Кронверкский, 23, мне,

другой: Невский, 64, «Всемирная литература», тоже мне; это необходимо ввиду расстройства почты.

А как послать Вам денег? Могу оставить их в Москве у Екатер. Павл. Пешковой... Я буду там во вторник, — сегодня пятница, 17-е (января 1919 года.—Д. С.), — проживу с неделю...»²⁰.

Прочитав это письмо, я решил отправиться в Москву, чтобы лично поговорить с Горьким о переложениях.

С караваем в руках я втиснулся в набитую народом теплушку. Поезд шел тихо, часами стоял на станциях. Через сутки подошел к Москве.

Был морозный вечер. Голубоватую уличную мглу колыхали сине-зеленые сполохи трамвая. Я доехал до Чистых Прудов и через несколько минут входил в подъезд того дома, где впервые увидел Горького.

Швейцар с серебряными галунами на ливрее стоял при дверях, как и четыре года назад. Но лифт не работал.

В квартире Екатерины Павловны я не нашел переман, только вазы с фруктами исчезли со стола. И сама Екатерина Павловна мало изменилась, разве только похудела.

Вид у меня был самый деревенский: заячья шапка, башлык, короткая ватная тужурка да еще обернутый пестрым ситцевым платком каравай подмышкой, но Екатерина Павловна узнала меня.

— Хорошо, что вы пришли. Алексей Максимович просил передать вам книги.

— Он еще не приехал?

— Мы ждем его завтра.

Ночлега у меня не было, но просить приюта у Екатерины Павловны показалось неудобным.

Простившись, я вышел на улицу. Сверху медленно падали сухие редкие снежинки. Я начал спрашивать встречных, не знают ли они где гостиницы? Ответы были неутешительные. Трамвайное движение прекратилось, прохожих попадалось все меньше. Какой-то добрый человек посоветовал мне попроситься на ночлег в милицию.

В участке жарко топилась печка, бросая красные отблески на истертые половицы. За столом сидел дежурный. Он просмотрел мои документы. Потом меня вежливо провели за невысокую перегородку — в «холодную», которая была холодной скорее по названию, чем по температуре.

Я лег на нары, положил голову на каравай и заснул.

Утром снова пошел к Екатерине Павловне узнать, приехал ли Алексей Максимович? Оказалось, что приехал.

Раздевшись и стуча по светлому паркету подмороженными валенками, я прошел в столовую-гостиную и сел на диван.

За дверью послышалось знакомое глуховатое покашливание. Дверь отворилась. Быстрыми шагами в комнату вошел Горький.

От его взгляда, от улыбки попрежнему веяло неистощимой заразительной бодростью, великой духовной силой.

Алексей Максимович был почти такой же, каким я увидел его в первый раз.

Он присел к столу и с ласковой серьезностью повел речь о будущей моей работе.

— Постарайтесь, сударь мой, отнестись к ней внимательно, полюбите ее. Я верю, что это выйдет у вас. Вы делаете хорошее, нужное дело.

Ясно и холодно голубел морозный день. Екатерина Павловна поставила на стол кофейник и два стакана, сказав, что кофе придется пить без сахара, обедать — без хлеба. Это было в дни очередей за пайками, продовольственных карточек, мешочников.

Тут пригодился мой каравай. А в грудном кармане пиджака я нашел кусочек сахара, уцелевший от чаепитий в редакции «Рабочего края», и предложил его Алексею Максимовичу. Он взял кусок и щипцами расколол его пополам.

— Вы где остановились? — спросил меня Горький, разливая кофе по стаканам.

— Нигде.

— Как?

Я поведал о ночном приключении.

— Пока будете в Москве, живите у нас, — решил Алексей Максимович. И начал расспрашивать об Иванове, о работе в газете, о стихах.

Говоря о своем житье, я пожаловался, что дома мне нехватает музыки.

— Сегодня услышите хорошую музыку, — обещал Горький, — придет один молодой композитор, очень талантливый пианист.

В комнату вошел Максим. Он подрос, возмужал.

Горький горячо любил сына.

Вечером — не помню, по какому поводу — Алексей Мак-

симович рассказал, что когда Максиму делали какую-то серьезную операцию, то он, отец, находившийся в это время в операционной комнате или где-то рядом, не выдержал, потерял сознание.

Сейчас Горький дружески разговаривал с сыном о его делах, — из разговора выяснилось, что Максим стал большевиком. Горький ласково усмехался. Потом он принялся рассказывать Екатерине Павловне о своем впечатлении от новой постановки пьесы «На дне», сделал несколько замечаний о недостатках игры. Заговорил о предполагаемом издании большой литературной газеты, о писателях и книгах.

Об одном модном писателе он сказал, пожав плечами:

— Не понимаю, чего с ним носятся! Это же, Шелли, переведенный с английского на индусский и затем обратно, — с индусского на английский.

А современному русскому стихотворцу из «музыкантствующих» дал такую характеристику:

— Кустарь. Чтобы писать такие стихи, едва ли требуется вдохновение, — была бы усидчивость.

Положив руку на спинку стула, Горький стоял у стола и улыбался чуть презрительно:

— Да я вам сколько угодно таких стихов наплету!..

Беседу прервал приход поэта Георгия Чулкова. Немного позднее явился престарелый детский писатель, очутившийся без работы. Пока мы с Чулковым сидели в столовой, Алексей Максимович в соседней комнате говорил с детским писателем. Старик ушел радостно-взволнованный.

Этих писателей сменили новые.

Пришел давний приятель Горького, рабочий, коммунист. Он был невысок, коренаст. На его русском лице улыбались небольшие карие глаза. Не выдавшиеся несколько лет хозяин и гость расцеловались.

Гость сказал:

— Ну, Алексей Максимович, я у вас хлеб отбиваю, — заделался редактором нашей губернской газеты...

Горький усадил редактора в кресло и сам сел напротив. Начались расспросы, воспоминания о знакомых, — о людях, которые прошли через тюрьму, через ссылку и теперь строили новую жизнь.

Среди разговора Горький взял со стола большой конверт, оклеенный иностранными марками. Вынул из него сложенный вчетверо хрустящий лист.

— Вот получил письмо от мексиканского министра. Предлагает свои услуги, просится к нам на работу. Так-то!..

Лицо Алексея Максимовича светилось гордостью за Советскую страну.

Потом сидели в той маленькой комнате, где час назад Горький принимал детского писателя. Алексей Максимович просматривал газету своего друга. Статьи, написанные самим редактором, были отчеркнуты красным карандашом.

— Пишем еще плоховато, — говорил редактор. — Ну, научимся.

Раздался новый звонок. Женский голос спрашивал, можно ли видеть Алексея Максимовича? Покинув нас, Горький вышел в большую комнату. В неплотно задернутую портьеру нам были видны широкие поля шляпы, четкий очерк тонкого бледного лица.

По уходе гостии-писательницы Алексей Максимович сказал с восхищением:

— Замечательная женщина! Перенесла сложнейшую операцию, буквально вся изрезана, а как работает, как велик запас ее духовных сил!..

Жизнь причинила Горькому много зла, но ее удары не исказили его мощной и доброй души. Как никто другой, он умел видеть в людях черты человека, самое имя которого звучало для него гордо. Та неистребимая вера в человеческий разум и волю, которая наполняла книги Горького, теперь слышалась в его голосе, выражалась в улыбке и взгляде.

— Да, удивительные люди, удивительная страна, — задумчиво сказал он, покачав головой.

К обеду должен был приехать В. И. Ленин, но время шло, а его все не было.

Максим позвонил в Кремль. Ответили, что Владимир Ильич уже выехал.

Разговор не вязался.

Прошло с полчаса.

Екатерина Павловна пригласила всех к столу.

После выяснилось, что В. И. Ленин подъехал к дому, вошел в подъезд, но лифт был испорчен, а взойти на четвертый этаж Владимир Ильич не мог: помешала незажившая рана. Он сел в автомобиль и уехал.

Музыкант, о котором так одобритительно отзывался Горький, оказался совсем молодым человеком с миндалевидными, влажно блестящими глазами. Он принес с собой чьи-то ученические пастели. Горький радостно любовался их мяг-

кими тонами; он находил, что начинающий художник несомненно талантлив.

Одна из пастелей, изображавшая деревянные домики, заборы, разноцветное тряпье на веревках, называлась: «Стерлитамак». Вспомнились одноименные стихи:

Приятный город! Грязи по колено,
Ядреной и зернистой, как икра.
В оковах знойных солнечного плена
Томятся улицы. Из-за двора
Спустилась гроздь лиловая сирени.
На жердочках белее висит с утра...

(П. Радимов)

Стихи и фамилия автора были знакомы Горькому.

— У него есть отличная поэма о семинаристе, который сватает невесту,— сказал Алексей Максимович.— Читали?

И продолжал:

— Я хочу составить несколько книг о сословиях старой России: крестьянстве, купечестве, духовенстве. Нужно собрать лучшие вещи нашей литературы о быте этих сословий. В одну из книг войдет и поэма Радимова.

А январский день смеркался. Включили свет. Музыкант сел за пианино. Он играл и классиков и новых композиторов. Горький говорил:

— Вы добились больших успехов. Раньше у вас не было такой четкости, такой чистоты звука.

Было видно, что Алексей Максимович понимает и чувствует музыку так же глубоко, как и литературу, живопись, театр.

— Классиков, классиков давайте,— требовал он, обращаясь к пианисту.

В этой же самой комнате слушал любимые сонаты Бетховена и В. И. Ленин,— музыка вызывала в нем восторженное удивление пред человеческим гением.

В тот вечер тоже звучал Бетховен.

Горький сидел, опираясь на ручки кресла и немного подавшись вперед, в ту сторону, откуда шли звуки. По его лицу катились слезинки. Когда последний аккорд замер, он произнес взволнованно:

— Ах, какая дивная вещь!

Еще в Финляндии я увидел, как неотразимо действует на Горького всё прекрасное: старинная гравюра, стихотворение Пушкина, барельеф редкой монеты. А раз он упомянул

о встреченной им где-то в Италии статуе, — гармония линий, их благородная чистота до слёз тронули его.

Даря музеям картины, коллекции монет, восточные вазы, Горький стремился сделать искусство доступным народу. Он хотел, чтобы заключенная в искусстве творческая энергия человека вызвала в массах еще более мощную волну творчества.

Наполнив комнаты веселым оживлением, пришли новые гости. Разговор за чайным столом начался с театральных новостей. Потом как-то само собой вниманием всех завладел Горький.

Устремив вдаль задумчивый взгляд посветлевших глаз и дымя папиросой, он рассказывал о прошлом, о встречах с замечательными людьми.

Целый день Алексей Максимович не курил, и только к вечеру для него достали папирос. Они лежали в соседней комнате на комоде. Время от времени Горький, прервав рассказ, вставал и шел за папиросой.

Увлеченные его воспоминаниями, гости засиделись до поздней ночи.

На другой день я поблагодарил Екатерину Павловну за гостеприимство, простился с Горьким.

Уже в передней, провожая меня, он сказал несколько слов о вчерашнем концерте, затем о стихах Уитмэна, — в них Алексея Максимовича не удовлетворяла форма.

Я оделся, взял книги и хотел идти, но Горький остановил меня.

— Подождите, ведь у вас курить нечего...

Сходил в комнату и вернулся с пачкой папирос.

Подарок шел не от избытка, и не следовало брать его, но Алексей Максимович предлагал так настойчиво, в глазах его я видел такую большую доброту, что отказаться было нельзя.

До революции Иваново-Вознесенск, несмотря на свое промышленное значение, считался «безуездным» городом, поражал неблагоустроенностью и культурной отсталостью. Связанные с Ивановом писатели-одиночки не любили его и рвались на сторону. Ивановский уроженец писатель Ф. Д. Нефедов называл родной город «болотом».

«Не знаю, что ждет меня в этом болоте, — писал он в

своем дневнике 1863 года, собираясь в Иваново после неудачной попытки поступить в университет.— Война с невежеством, с грубой силой зоологического царства и многое в этом роде? Нерадостная картина будущего!..»

Несмотря на грозные годы гражданской войны, в Иваново росла волна культурного подъема. В дни, когда, казалось, было не до литературы, когда истощенные ткачи с красными знаменами уходили навстречу боям, когда от захваченного мятежниками Ярославля доносился гул артиллерийской канонады, — в Иваново сложилась группа советских писателей. Обращаясь к текстильному городу, поэт Иван Жижин сказал:

Жезлом железной диктатуры
Ты облик зверя быстро стряс
И на горах мануфактуры
Ты сотворил себе Парнас.

На ивановском «Парнасе» встретились деревенские парни, кухаркины дети, бывшие солдаты, старые и молодые рабочие. Собираясь в нетопленной комнате, поэты грелись кипятком с сахарином, читали стихи. В стихах было немало сора, но попадались и крупинки золота.

Лучшие стихи шли в газету «Рабочий край», издавались небольшими сборниками, печатались в альманахах. Литературная работа ивановцев вызвала ряд откликов. Об ивановских поэтах писали Луначарский, Ольминский и др. Но первым, кто заинтересовался ивановскими литераторами, был Горький.

Непоколебимо веря в духовные силы народа, он страстно ждал: вот распустятся первые цветы творческой весны! Отсюда — внимание Алексея Максимовича к ивановским поэтам, о которых я рассказывал ему в Москве и после — в письмах.

Через два месяца после своей поездки я получил от Горького такую записку:

«С нетерпением жду переводов, уверен, что Вы, Д. Н., сделаете их хорошо.

Пришлите мне стихов Сер. Семина.

Крепко жму руку, спасибо за поздравление, писать некогда...»²¹

Бывший пастух Сергей Семин удивлял всех знавших его своей одаренностью. В империалистическую войну, сидя в окопах, он научился грамоте, прочитал Пушкина и на-

чал сочинять сам. Его стихи, написанные каракулями малограмотного, были певучи, просты и свежи. Семину хотелось учиться, но его силы были надорваны. В двадцать с чем-то лет он казался стариком и через два года умер от сыпного тифа.

По письму Горького от 16 мая 1919 года видно, что стихи Семина и другого ивановского поэта, Жижина, он нашел талантливыми:

«Милый Дмитрий Николаевич!

Зачинаю здесь журнал «Завтра»...

Очень прошу Вас — пришлите стихов своих, Жижина и Семина. Стихи Жижина свидетельствуют о его таланте, Семин — жиже.

И пришлите №№ «Рабоч. Края», в которых были напечатаны частушки.

Действуйте скорей...»²²

Иван Жижин был сыном прислуги-вдовы. Как и Семин, он не получил никакого образования и своим развитием был обязан исключительно личным усилиям. Стихи Жижина отличались смелостью образов и чеканкой поэтической фразы.

В следующем письме Горький упоминал фамилии еще двоих ивановцев.

«...Скажите Жижину, Барковой и Дмитриеву — стихи получил, но еще не читал.»²³

Главным организатором ивановских литературных начинаний был старый правдист Михаил Артамонов. Его стихи были известны Алексею Максимовичу и раньше. Артамонов участвовал в одном из «Сборников пролетарской литературы». Он усердно снабжал «Рабочий край» своими песенками деревенского гармониста.

Положительную оценку ивановских поэтов Горький сохранил на долгое время.

Ш. Манучарьянц в статье «Что и как читал Ленин (заметки библиотекаря)» вспоминает:

«Иногда Ленин просил достать ему какую-нибудь книгу, газету или журнал, на которые ему указывал кто-либо из товарищей.

После приема А. М. Горького мне передали такую записку:

«Прошу достать (комплект) «Рабочий край» в Ив.-Вознесенске.

(Кружок настоящих пролетарских поэтов)

Хвалит Горький

Жижин
Артамонов
Семеновский

28—I—1931 года».

(Газ. «Правда», № 17, 1927 года).

По словам Ш. Манучарьянц, желание В. И. Ленина было исполнено: комплект «Рабочего края» ему доставили. Владимир Ильич просил хранить его в том шкафу, куда складывались книжные новинки. Но большая занятость не позволила Ленину ознакомиться с ивановскими стихами. Спустя некоторое время он сказал, что ему некогда будет просмотреть комплект, и просил отправить его в Социалистическую академию.

В 1922 году Горький — за границей, он болен, но по-прежнему помнит ивановских поэтов. В эти дни в Иваново пришло письмо секретаря берлинского «Книгоиздательства писателей»: ссылаясь на указание Горького, он предлагал ивановцам присылать в издательство свои произведения. Этим предложением поэты не воспользовались, так как можно было печататься и дома, но Алексею Максимовичу за память остались благодарны.

Прошло несколько лет. Некоторые ивановские писатели стали известны за пределами области. Ефим Вихрев написал интересную книгу о Палехе, Николай Колоколов — роман «Мед и кровь». Алексей Максимович прислал обоим авторам хорошие письма. Известно, какую высокую оценку дал Горький писательской работе Дмитрия Фурманова, — литератора, получившего боевую закалку в рядах ивановских ткачей. В письме к А. Н. Фурмановой по поводу смерти писателя Алексей Максимович говорит о нем как о человеке острого зрения, чуткого слуха и большого художественного дарования.

В Иваново подрастали новые литераторы. Они также посылали Горькому свои работы. Иногда это были полудетские стихи, скорее говорившие о юном возрасте автора, чем о его достижениях. Но Алексей Максимович умел отнестись серьезно и внимательно к каждому.

«Говоря откровенно, — писал он в 1928 году Михаилу Маркову, — стихи Ваши «так себе», т. е. не хороши. Такие «образы», как «стая оврагов», «окунутые в поте» и проч. — это плохо. Еще хуже то, что Есенина Вы ставите выше Пушкина и Лермонтова, — это уж совсем скандал! Но мало ли какую чепуху может сказать человек 18 лет от роду! Я то-

же, вероятно, такие же оглобли гнул в Вашем возрасте, как Вы гнете. В эти годы печататься не следует, а надобно учиться во всю силу, вот что, сударь мой! А таких стихов, как Ваши, теперь печатают версты. Однако, «В глуши» не так уж плохо, если выкинуть «стаю оврагов». Поэтому очень рекомендую Вам: учитесь, детушка!».

Прямое, сурово-откровенное письмо Алексея Максимовича принесло Маркову пользу: юный автор начал учиться, поступил в вуз.

Горький поддержал и молодого ивановского беллетриста Михаила Шошина. Прочитав рассказы Шошина, Алексей Максимович написал ему:

«Записки плохого поэта» и «По заволжским просторам» вполне определенно говорят о Вашей даровитости. Говорят о том, что Вам доступно чувство дружбы к людям, чувство доверия к жизни,— это чувство не часто встречается выраженным так просто, искренно. Вы хорошо видите жизнь и знаете, о чем надобно писать. Изобразительные средства у Вас— не плохи, но могут и должны быть лучше, богаче. В приемах работы чувствуется влияние М. М. Пришвина. Это весьма крупный художник и у него есть чему поучиться, но не забывайте, что одно дело— учиться, другое— подражать. Я думаю, что Вы человек достаточно своеобразный, вижу, что у Вас есть свой— и не малый— опыт, он требует Вашей, а не чужой окраски, и потому повторяю: учитесь, но не подчиняйтесь. Вам следует заняться языком. Не хочу сказать, что он плох, но еще беден, требуется, чтобы Вы обогатили его. Читайте Лескова, Чехова, Бунина, Пришвина— все это люди очень богатого лексикона и превосходные знатоки русской речи и «описательного языка».

Избегайте таких слогов, как: «шущих», «щая», «щей», «вшей», а также вообще свистящих и шипящих везде, где они не звукоподражательны: «трепещущая тишина» не изображает тишины, потому что слога «щу», «ща» слишком определенно звучат...»

Не ограничиваясь перепиской, Горький разослал рассказы молодого автора в разные издания, привлек его к сотрудничеству в журнале «Наши достижения». Как всегда, Алексей Максимович радовался появлению нового талантливого писателя и старался облегчить ему продвижение в большую литературу.

Летом девятнадцатого года Горький обрадовал меня вестью о том, что мои стихи будут изданы книгой:

«Дмитрий Николаевич!

Я показал Ваши стихи А. А. Блоку, рецензию которого прилагаю в поучение Вам. Блоку — верьте, это настоящий — волею божией — поэт и человек бесстрашной искренности.

Часть стихов, выбранная им, будет издана новым книгоиздательством «Жизнь мира», часть, признанную лишней, возвращаю... исправьте посвящение жене, «Богатыря».

Дайте коротенький очерк Вашей жизни и воспитания. Деньги получите, как только будет составлена книжка. Торопитесь возвратить исправленное...»²³

Своей высокой оценкой Блока, как поэта и человека, Горький как бы вносил поправку в другой, более ранний отзыв о нем, — в отзыв, основанный на отрицательном отношении Алексея Максимовича к поэтам-модернистам, которых он осуждал за оторванность от жизни и голый эстетизм.

«...Блок? — писал он мне в 1915 году. — Я отношусь к нему внимательно, но недоверчиво. Мне кажется, что он слишком литератор, вдохновение его холодно, почерпает он его из книг, как я чувствую. Те стихи, которые Вы привели в письме ко мне, я знаю и тоже считаю их книжными. Все, что сказано в них про Русь, не однажды говорилось Хомяковым, Аксаковым, это можно встретить у Языкова, даже у Огарева. Старо, книжно. Своих слов — мало, своего отношения — не вижу, не чувствую. Иногда Блок говорит смешные вещи, напр.: «О, родина! Жена моя!» Это вызывает у меня комическое впечатление...»⁹

Как известно, Блок сумел подняться неизмеримо выше той среды, в которой он воспитывался. За стихами Блока о России стояла большая любовь к родине и вера в ее будущее. И не случайно в годы крушения старого мира он призывал: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте Революцию!» Искренний и честный порыв поэта по-новому осветил его образ. Работая вместе с Блоком в издательстве «Всемирная литература», Горький увидел его в этом новом свете.

Вместе с письмом Алексея Максимовича я получил рецензию Блока и свою рукопись с пометками и приписками поэта.

Пометки Блока — это краткие — иногда в два-три слова — оценки стихов или советы.

«Книжно», «Хороший распев, но не выдержанно», «Растянуто, а много хорошего», — такие отзывы оставил на полях рукописи карандаш Блока. Подчеркнуты неудачные выражения, притянутые рифмы. Поразила меня приписка к стихотворению «Склоняюсь над зыбкою скрипучей» — о девушке, укачивающей своего ребенка. Блок написал:

«Очень хорошо начало и размер. Надо ли объяснять про «кудрявого молодца»? Без такого объяснения выходит лучше. Не все ли равно, за что отец бьет дочь, у которой — ребенок, а о том, что она — незамужняя, пожалуй, говорит сам размер».

Взяты в скобки те строчки, которые Блок нашел лишними, — они делали стихотворение чрезмерно растянутым. О растянутости, как об одном из моих недостатков, Блок упоминал и в рецензии.

Замечательна последняя фраза приписки: «а о том, что она — незамужняя, пожалуй, говорит сам размер».

Эта фраза лишней раз показывает, какое значение придавал Блок музыке стиха, звучанию слов, их ритму. Для такого мастера стиха, как Блок, в стихотворении говорили не только слова с их смысловым содержанием, — говорили самые звуки слов, перебои, паузы. В этом мне раскрывался один из секретов очарования его поэзии.

Строки Блока, которые Алексей Максимович прислал мне в поучение, заставляли внимательнее прислушиваться к слову, к его музыке.

Приехав в двадцать первом году в Москву, я снова повидался с Алексеем Максимовичем.

Стояла теплая погожая осень. Москва была тиха, просторна и золотиста. Трамвай не ходил. Рельсы заросли высокой, редкой травой. Я остановился у знакомого поэта. О встрече с Горьким заранее условился по телефону.

Узнав, что я увижу Горького, мой знакомый попросил передать Алексею Максимовичу свою недавно вышедшую книгу. Он был человек даровитый, но иногда его социальные поэмы страдали напыщенностью и холодностью.

В назначенное время, во второй половине дня, я был в квартире Екатерины Павловны.

Поздоровавшись с Горьким, передал ему книгу своего приятеля. Алексей Максимович раскрыл ее, пробежал глазами несколько строчек и сказал вопросительно:

— Кажется, трескучие стихи?

Заглянул в предисловие, — оно было написано известным литератором в выражениях как будто хвалебных, но в то же время достаточно осторожных.

Горький усмехнулся:

— А хитрый мужик Б.!

Фраза относилась к автору предисловия.

Алексей Максимович положил книгу на письменный стол.

Разговор происходил в той комнате, где три года назад мы слушали музыку.

Мне хотелось посоветоваться относительно некоторых недоуменных вопросов. Я взволнованно передал Горькому свои мысли. Он смотрел мягко, вдумчиво. Что-то благостное, как ласка осеннего солнца, чувствовалось сейчас в Горьком.

Выслушав меня, он заговорил так человечно, с таким пониманием всего, что меня волновало, что от его трезвых и ясных слов, от его дружеского тона мои недоумения рассеялись.

Между прочим, я спросил о судьбе своих переложений.

Алексей Максимович ответил, что надеется напечатать их. И, немного помолчав, неожиданно прибавил:

— Вы не совсем правильно поняли меня. Нужно было дать образ женщины, матери всего прекрасного, что есть на земле...

В ответе было столько горьковского!

Прославив чудесными словами матерей, «сеющих в человеке все, чем он славен», Горький хотел, чтобы и другие славали —

Песнь о сердце мира, о волшебном сердце

Той, кого мы, люди, матерью зовем.

Неожиданно он закашлялся.

Приступ кашля был сильный, лицо Алексея Максимовича покраснело от напряжения, на глазах навернулись слезы. Он прижал худые руки к груди и, горбясь, сидел на стуле, а сам все кашлял — глухо, как в бочку.

В эту минуту я с острой болью вдруг увидел, что Горький физически не тот, каким был прежде. Затяжной, над-

садный кашель, впалые щеки, глубокие морщины говорили о том, что Алексей Максимович очень нездоров. Как-то виновато улыбнувшись, он встал и вышел в соседнюю комнату.

Скоро Горький вернулся и продолжал разговор.

Мой сборник в издательстве «Жизнь мира» почему-то не вышел. Но Алексей Максимович не оставлял мысли помочь мне в издании книжки. Он хотел, чтобы я прислал ему всё написанное.

— Я уже сам отберу, что нужно, только смотрите, все стихи присылайте, — сказал он, сделав ударение на слове «все».

И напомнил, чтобы я обратился к И. П. Ладыжникову за гонораром.

— Мы, наверно, должны вам.

Я видел, что Горькому плохо, что он болен, устал, — тем трогательнее было это напоминание о каких-то неполученных деньгах.

Я спросил Алексея Максимовича, кто из молодых писателей кажется ему наиболее талантливым?

Горький оживился и начал перечислять фамилии. Он горячо верил в будущее нарождающейся новой литературы.

Ему нравились стихи Сергея Есенина.

— Этот — бешено даровит!

Среди молодых прозаиков Горький тоже видел растущих художников слова.

— Через несколько лет у нас появится ряд прекрасных писателей, — памятно сказал Алексей Максимович. — Это для меня несомненно. У нас будет новая большая литература!..

Непоколебимой уверенностью звучали его слова.

В 1922 году, посылая Горькому изданную в Иванове книжку своих стихов, я пожаловался на мучительное чувство недовольства собой, качеством своей работы.

Ответ Алексея Максимовича своим сердечным и бодрящим тоном напомнил мне первую встречу. Желая укрепить во мне веру в себя, в свои силы, Горький писал:

«Книжку Вашу я получил, почти все стихи ее я знаю, а Вы знаете мой отзыв о них... Вы помните, конечно, что мое к Вам отношение, как к талантливому человеку, было

подтверждено А. А. Блоком. Теперь я дал книжку Вашу Х., крупнейшему из современных поэтов и мастеру формы; прилагаю его отзыв, надеясь, что он Вам доставит удовольствие и поднимет Вашу самооценку. Последнее совершенно необходимо для Вас, Вы относитесь к себе несправедливо.

Послушайте: известная доля неудовлетворенности собою, своей работой — всегда и обязательно должна быть присуща каждому искреннему писателю; эта неудовлетворенность, являясь источником его мук, является в то же время залогом непрерывности его роста. Так. Но — у Вас неудовлетворенность собою принимает болезненный характер, и я боюсь, что это обессилит Вас. Поэтому Вы, сударь, должны бороться и умерить это чувство недовольства собою. Вы — поэт и больше ничего! Вы прежде всего — поэт. С этим Вы ложитесь спать, с этим встречаете восход солнца, суету дня, людей, собак, комаров, огорчения, радости, — все, чем наполнен день Ваш и ночь.

Вы кем-то призваны окрасить мучительно-трудную жизнь людей в яркие краски звучных слов, — вот Ваше дело! Вы обладаете способностью видеть жизнь более значительной и красивой, чем она есть, — вот Ваше отличие от множества миллионов людей, для которых Ваша оценка жизни может дать много и пользы и радости.

Довольно скрипеть и ныть, Семеновский! Вам надо писать, надо немножко — чуть-чуть! — любить себя за то, что Вы делаете. Делаете же Вы хорошее дело — хорошо.

Будьте здоровы и работайте, а я попытаюсь переиздать Вашу книжку здесь и прислать Вам денег.

Сердечный привет. *А. Пешков.*

Адрес:

Германия.
Furstenwalde.
Saarow — Sanatorium.
М. Горькому.

Да, здесь будет издаваться большой литературно-научный журнал... — пожалуйста, пришлите стихов. Послать их вы можете по адресу издательства «Эпоха» — в Москве или Петрограде — узнайте сами, — на имя Белицкого, а он пришлет сюда. Идет?

А. П.»

К письму была приложена переписанная почерком Горького большая рецензия поэта Х. Посылая её, Алексей Максимович спрашивал:

«Ну вот, — чего Вам еще нужно?»

Х. — очень строгий ценитель и суровый критик.

Угодить на него — трудно. Он — большой умный человек, глубокой души.

Будьте здоровы, милый, и работайте. Присылайте стихи сюда. А. П.»²⁴.

Безуездное Иваново после революции стало центром большой области.

В состав Ивановской области входит и приволжский городок Плес. Недалеко от Плеса, в красивом доме, глядящем окнами фасада на Волгу, отдыхают ивановские ткачи. Раньше дом принадлежал Федору Шаляпину. Однажды здесь побывал и Горький.

Кажется, были у него знакомые и в самом Иваново-Вознесенске. В девятнадцатом году в Москве, разговаривая со мной об ивановской жизни, Алексей Максимович спросил:

— А вы не знаете в Иваново такого-то?

Он назвал незнакомую мне фамилию. Я не запомнил её, о чем после жалел. Фамилия, названная Горьким, могла принадлежать одному из работников революционного подполья.

Между Нижегородской и Ивановской социал-демократическими организациями издавна существовала тесная связь. Нижегородцы доставляли в Иваново-Вознесенск оружие и нелегальную литературу. Осенью 1905 года на площади перед ивановским вокзалом толпой черносотенцев была убита молодая революционерка Оля Генкина, везшая ивановским большевикам револьверы. Нижегородка Анна Кирилловна Заломова, изображенная Горьким в повести «Мать» под именем Пелагеи Ниловны, привозила в Иваново нелегальную литературу.

Это засвидетельствовал сам Алексей Максимович в письме к Н. И. Иорданскому:

«Ниловна — портрет матери Петра Заломова, осужденного в 900-х годах за демонстрацию 1 мая в Сормове. Она работала в организации, развозила литературу, переодетая странницей, в Иваново-Вознесенском районе и т. д.»

О своей поездке с нелегальной литературой в Иваново А. К. Заломова рассказала потом и сама. В год смерти Горького она приезжала в Ленинград к сыну, работавшему на заводе «Севкабель», и выступала на траурных рабочих митингах с воспоминаниями об Алексее Максимовиче. Её речь опубликовала газета «Литературный Ленинград» (№ 33, 1936 г.).

Сначала везти прокламации в Иваново собирался ее младший сын Александр.

«— А я говорю,— вспоминала А. К. Заломова: — Его заприметят жандармы,— давайте уж лучше я. «Ну, что, думаю, возьмут с простой тетки?»».

— Если будет неудача, говори, что я послал, — учил меня сын.

А я решила по-своему. Прикурну на чемоданишке, никому и невдомек, что у тетки в укладке. Если спросят, скажу, что дали караулить чужие люди.

Сижу на перроне, делаю вид, что дремлю, а у самой сердце так и колотится. Проходит мимо жандарм. Я его и спрашиваю:

— Скоро ли поезд пойдет?

Он ничего не ответил мне и отошел...

А в Иваново ждали этот чемодан с нетерпением и встретили меня, как родную».

Прошли годы. Большие перемены произошли в городе ткачей.

Иваново 1928 года резко отличалось от старого, дореволюционного. В городе шло кипучее строительство: появились фабрики-дворцы, новые рабочие поселки, театры, клубы, школы. Повысился культурный уровень текстильщиков. Кружок поэтов был только одним из признаков того процесса, который происходил в сознании ивановцев.

Вернувшийся в этом году на родину Горький, готовясь к летней поездке по Советскому Союзу, собирался побывать не только в Иваново, но и в соседнем Палехе, селе художников-самоучек.

Но ни в Иваново, ни в Палех он не попал.

Здесь уместно рассказать об одном маленьком происшествии того времени. Оно лишней раз показывает редкую чуткость Горького и его человечность.

Еще зимой начинающий корреспондент ивановской молодежной газеты «Юный текстищик» Анатолий Хапаев, мальчик лет пятнадцати, послал в Сорренто письмо. Что

написал он Горькому, неизвестно, но, видимо, письмо было грустное. Алексей Максимович ответил Хапаеву словами ободрения, убеждал его не унывать, а в заключение обещал своему адресату рекомендовать его на работу в Гиз и прислать ему немного денег.

Через несколько дней пришли и деньги — 200 рублей.

Получив их, Хапаев купил себе модный костюм, замшевые ботинки, стал курить дорогие папиросы. Товарищи Хапаева решили, что он во зло употребил доверие Горького, но вместо того, чтобы по-дружески направить паренька на путь истинный, ребята вздумали учить Алексея Максимовича.

Когда Горький приехал из заграницы, в «Юном текстильщике» появилось «Открытое письмо Алексею Максимовичу» — произведение не вполне грамотное, но весьма развязное.

«Дорогой Алексей Максимович,— писали авторы, — вы портите подростка. Двести рублей пролетят у него, как кошмарно-сладкий сон, и оставят на память о себе тяжелую голову и разбитую учебу... У нас в редакции, без преувеличения можно сказать, пуд стихов, присланных за последний год. Вероятно, ни в одной стране нет столько поэтов, как у нас теперь в советской республике. Добрая половина этих стихов принадлежит поэтам около-хапаевского возраста. И теперь они, соблазненные хвастливым Хапаевым, будут писать вам слезоточивые письма, заговорят о «недостаче средств», а потом будут бросать работу, учебу...».

Во всем этом было мало логики и много недомыслия. Ошельмовав Хапаева, а заодно и другого горьковского корреспондента, начинающего поэта А. Северного, авторы заявляли:

«Кроме того, мы предостерегаем Гиз от принятия Хапаева на работу или учебу. У нас много ребят из пролетариата, по-настоящему желающих учиться и работать, а лентяи и поклонники головокружительных успехов подождут...».

Горький отнесся к этой неумной выходке с надлежащей серьезностью. Он увидел, что авторы «Открытого письма» сами стоят на ложном пути, и написал им большой, отечески-строгий ответ. Алексей Максимович адресовал его в редакцию ивановской газеты «Рабочий край». Вот эти горьковские строки:

«Уважаемые товарищи! Убедительно прошу вас дать место в «Рабочем крае» моему ответу на «открытое письмо» ко мне редакции «Юного текстильщика».

Письмо это озаглавлено: «Как Хапаев обманул Горького». — Этот заголовок, обличающий мальчика в «обмане», — не обоснован и не справедлив. Хапаев предложил мне помочь ему. С моей точки зрения всякий человек заслуживает помощи, а **особенно** заслуживает ее наша молодежь в наши дни, и **тем более** заслужил ее мальчик, который уже в 13 лет начал печатать «заметки» в газете. Допускаю, что таких мальчиков — немало, — тем более заботливо и бережно следует относиться к ним. Разумеется, помощь деньгами — ничтожная помощь, однако я сам был 13-летним мальчиком и мне очень хорошо известно, что значит во время полученный пятак.

Называть «обманщиками», «кандидатами в аферисты», «пройдохами» мальчиков «около хапаевского возраста» — как пишет «Юный текстильщик» — это преступно. За что шельмуются эти мальчики? За то, что они пишут «пуды стихов»? За то, что «ни в одной стране нет столько поэтов, как у нас»? Вот — преступление, не предусмотренное никакими уголовными законами, кроме закона, известного только редакции «Юного текстильщика»! Хочет ли эта редакция увеличить количество отколовшихся от своего класса людей, — хулиганов, незаслуженно обиженных и, наконец, самоубийц? Такими письмами, как ее «открытое письмо», она легко достигнет этого. Знает ли редакция «Юного текстильщика», сколько безусловно талантливых фигур выделяет наше время даже из среды «беспризорных» и «социально-опасных»? Откуда у нее появилось это мещанское пренебрежение к подросткам, которые пишут «пуды стихов»?

Весь тон «открытого письма» в отношении к Северному и Хапаеву — именно мещанский тон. Считаю себя обязанным доказать это редакции «Юного текстильщика» в статье, которая будет написана мною по поводу этого в высшей степени печального факта совершенно непонятной мне травли подростков, которые не должны воспитываться безответственной, грубой и несправедливой руганью. Кто ругается и судит? Судьям надобно честно подумать о своем праве так осуждать людей ценных не менее, чем они сами.

М. Горький.»

Ответ Алексея Максимовича редакция «Рабочего края» снабдила небольшой припиской. В оценке истории с Хапаевым редакция присоединялась к мнению Горького.

Горьковский ответ был напечатан в мае, а осенью, пред отъездом Алексея Максимовича в Сорренто, с ним виделся один из ивановских журналистов. Содержание разговора с Горьким он опубликовал в «Рабочем крае».

Алексей Максимович не забыл случая с А. Хапаевым. В том, что мальчик купил себе хорошую одежду, он не видел ничего дурного, ничего преступного.

— Надо было принять во внимание возраст Хапаева и отнестись к нему более дружески,— сказал Горький.

Затем он объяснил, почему не мог собраться в Иваново, и обещал приехать в будущем году. Просил очерков об интересовавшем его Меланжевом комбинате, замечательном достижении ивановских рабочих.

«...Он все читал и все помнит: название комсомольской газеты, свою статью о крестьянах, фамилию поэта Семеновского. И не только фамилию. Он расспрашивает, как расходуется книга Семеновского, что делает поэт, о чем пишет, как живет?...».

Эти вопросы Горького обо мне, видимо, были не только проявлениями личного участия.

Алексей Максимович относился к писательству как к общему, всенародному делу, как к работе для всех. Оттого творческую неудачу другого он воспринимал гораздо острее и больнее, чем сам автор, удача же рождала в его сердце теплые, ласковые слова радости, поздравления с успехом. Оттого он пристально следил, кто из писателей чем занят, горячо хотел помочь каждому, дарил свои строчки, раздавал темы.

Вскоре после беседы ивановского журналиста с Горьким Алексей Максимович дал литературный заказ и мне. Это случилось таким образом.

Я послал Горькому рукопись стихов и письмо. Рукопись взялся передать собирающийся в Москву товарищ, а письмо было отправлено почтой. Я писал Алексею Максимовичу, что недоволен своей книжкой, вышедшей год назад в издательстве «Круг», и просил содействия в издании нового сборника. Ответ пришел уже из Сорренто:

«Стихов Ваших — да еще «вороха» — мне никто не передавал. Жду, чтобы Вы прислали их сюда. Попрошу Гиз взять из «Круга» Вашу книжку и пустить ее в оборот.

К новой книге могу написать маленькое предисловие...

Жаль, что Вы пишете мало. А не испортят Вам язык «сатирические куплеты»? Вы бы познакомили меня с ними...»²⁵

«Сатирическими куплетами» я назвал свои газетные фельетоны в стихах. Отправляя Горькому эти наспех сделанные вещи, я — для того, чтобы он не очень плохо думал о моей газетной работе, — сообщил, что пишу также прозу — маленькие очерки. Алексей Максимович захотел прочесть и прозу.

«Дорогой Д. Н., — писал он, — посылаю Вам рукопись, просмотрите ее, перенумеруйте страницы и пошлите по адресу:

Москва. Госиздат...

В общем книжка — хорошая. О фельетонах я должен был упомянуть в предисловии.

О каких «маленьких очерках о людях» пишете Вы? Нельзя ли познакомиться с ними? Мне хочется издать несколько книг о «Великих маленьких людях», одну из таких пишут в Ростове н/Д., Ваша, м. б., годилась бы на место второй, если только в ней Вы имеете героями маленьких людей, сердечно делающих будничное дело...»²⁶

Мои наброски не подходили к разряду тех очерков, которые имел в виду Горький. Но ему казалось, что я сумею быть полезным для осуществления его идеи.

«Дорогой мой, — отвечал он, просмотрев мои газетные вырезки, — очерки Вашего типа для издания, о котором я мечтаю, не годятся, Вы правы.

Вы, наверно, поймете меня, если я скажу Вам, что следовало бы создать ряд книг «житийного» характера, нечто вроде «Четы Миней», ряд биографий героев труда, бескорыстно всю жизнь творивших маленькое свое дело для великого будущего. Вот какова идея.

Думаю, что Вашему «строю души» она близка и, м. б., Вам следовало бы попробовать написать просто и мудро, как Вы умеете делать некоторые стихи, — два, три таких жития.

Рукопись в Гиз Вы уже отправили?...»²⁷

Около этого времени стал выходить новый горьковский журнал «Наши достижения».

В журнале печатались очерки и о достижениях иванов-

ских рабочих. Авторами их были молодые литераторы, со-трудники «Рабочего края». Два-три очерка написал и я. Приезжая в Москву, заходил в редакцию горьковского журнала.

Двор дома, где находилась редакция «Наших достижений», примыкал к особняку, в котором жил Алексей Максимович.

В весенний день писатель Е. Ф. Вихрев и я, выйдя из редакции, увидели во дворе перед крыльцом горьковского особняка автомобиль. Около машины, разговаривая, стояли Максим Пешков и секретарь Алексея Максимовича, оба в пиджаках и без фуражек. Было тепло. Деревья за оградой сада, прилегавшего к особняку, окропила юная листва.

Мы подошли к разговаривавшим и поздоровались.

Я не видал Максима больше двенадцати лет. Он казался мне физически-крепким, жизнерадостным, только волосы на его голове слегка поредели. Поглядывая на автомобиль, Максим Алексеевич говорил об автомашинах, о преимуществе одних систем перед другими. Его интерес к спорту не пропал с годами...

Зиму Максим провел с отцом в Сорренто и вместе с ним вернулся в Москву. Самого Алексея Максимовича дома не было, — он уехал на дачу.

Когда Максим и его спутник ушли в дом, Вихрев сказал мне:

— Здесь, в доме Горького, художник Павел Корин заканчивает портрет Алексея Максимовича. Портрет, говорят, очень интересный. Пойдем, посмотрим на него.

Незадолго до этого мой друг сопровождал к Алексею Максимовичу палехских художников и теперь чувствовал себя в доме Горького до некоторой степени своим человеком.

С Коринным он был уже знаком. Из его слов я узнал, что Павел Дмитриевич Корин родом из Палеха, а в Москве живет с братом Александром, тоже художником. Осенью, пред отъездом в Сорренто, Алексей Максимович увидел работы Коринных и, убедившись в талантливости братьев-художников, нашел, что им недостает знакомства с лучшими произведениями мирового искусства. Горький увез Коринных с собой за границу. В Италии Павел Корин написал портрет Алексея Максимовича.

Мы вошли в дом и попали в просторный, светлый зал

По лестнице поднялись на хоры и отсюда увидели портрет, занимавший значительную часть стены.

Горький был написан во весь рост, в пальто и с непокрытой головой. Левую руку он опустил в карман, правой опирался на трость. За ним голубел туманный простор морского залива, проступали очертания далеких гор. Мы всматривались в контуры высокой характерной фигуры, в линии знакомого лица. Это было произведение большой силы.

Пока мы разглядывали портрет, откуда-то появился сам художник. Павлу Дмитриевичу Корину было лет 40, а на вид он казался почти юношей. От его облика веяло свежестью и молодостью. Его смугловатое лицо с очень гладкой кожей освещали ясные синие глаза. Художник был одет в запачканный красками халат.

Заговорили о Палехе, куда собирался Корин на лето, о новом палехском искусстве, вышедшем из древнерусской живописи, которую знал и любил Павел Дмитриевич. Он спросил нас, не находим ли мы в его произведении недостатков?

Снова и снова мы смотрели на портрет. И чем больше вглядывались в него, тем явственнее сквозь черты изображенного на нем человека проступал образ вдохновенного властителя дум людских. Чувствовалось, что в портрете Горького художник старался выразить величие его писательского подвига.

А за этим ликом Горького нам виделся другой. Образ великого писателя сливался с образом того Горького, которого мы знали и встречали в жизни, который согрел нас своим любовным вниманием, переписывался с десятками молодых авторов, подбадривал их, учил, поддерживал. Кисть мастера передала живые черты его неповторимого человеческого облика.

Горького писали Репин, Серов, писали другие художники, но портрет, созданный Кориним, Алексей Максимович считал лучшим из всех.

Пытаясь переехать в Москву, я обратился к Горькому с просьбой помочь мне в этом. Он ответил из Сорренто, что поручил мое дело находящемуся в Москве секретарю.

«...Переехать в Москву Вам следует, это зарядило бы

Вас новой энергией. Будем хлопотать,»²⁸ — обещал Алексей Максимович.

Из хлопот ничего не вышло. Лицо, которому писал обо мне Горький, ничего для меня не сделало.

Враги народа стремились, по образному выражению одного писателя, «вбить клин между советской литературой и Горьким», затруднить доступ пишущих к нему.

В 1932 году, узнав, что Алексей Максимович хочет увидеть меня, я попытался встретиться с ним. К Горькому меня не допустили, и я увидел его лишь на Всесоюзном съезде писателей.

Тем радостнее было узнавать по разным признакам, что горьковская оценка моей работы не изменилась, что его отношение ко мне осталось прежним.

Е. Ф. Вихрев показал мне рукопись своего очерка «Максим Горький и Палех». В очерке говорилось о связи палехских художников с Горьким. Упомянулся и город ткачей Иваново-Вознесенск. Были в очерке такие строки:

«Наступило время его (Горького) приезда в Советский Союз. Один из любимых его поэтов, житель Иваново-Вознесенска, Дмитрий Семеновский писал тогда в «Рабочем крае...»

Дальше следовала стихотворная цитата.

Вихрев сказал.

— Я написал этот очерк для одного журнала. Но прежде чем отдавать рукопись в редакцию, попрошу Алексея Максимовича просмотреть ее и поправить.

То, что рукопись будет читать Горький, смутило и встревожило меня. Не считая себя «одним из любимых поэтов» Горького, я решил, что Алексей Максимович не согласится с вихревским определением, и просил автора изменить касающуюся меня строчку.

Но очерк был чистенько переписан на машинке и пачкать его Вихреву не хотелось.

Чуть ли не на другой день рукопись была передана Горькому. Он быстро просмотрел ее и вернул обратно.

Получив очерк, Вихрев снова показал мне его.

На первой странице краснѣй карандаш Горького, зачеркнув несколько слов, вписал над ними другие слова. У Вихрева было сказано, что Алеша Пешков, поступив учеником в иконописную мастерскую, учился там писать иконы.

Горький поправил:

«Алеша Пешков не учился писать иконы. Он только растирал краски».

Дальше в рукописи оказались и еще какие-то исправления.

Но то место, которое послужило причиной моей тревоги, Горький оставил в полной неприкосновенности.

В таком виде очерк появился в журнале «Культура и быт» (1932 г., № 25, Профиздат, Москва).

Я был глубоко тронут тактом Алексея Максимовича, его сердечным отношением ко мне.

Когда-то в «Правде» появился очерк Горького «Михаил Вилонов». Он начинался отрывком из моего стихотворения «Слава — злобе»:

И больно мне, когда, подобя
Людей зверям, слепая кровь
Темнит их взор. Но — слава злобе,
Воинствующей за любовь!

«Если бы это четверостишие говорило не о злобе, а о более глубоком и творческом чувстве, чем она, — о ненависти, — я мог бы взять его эпиграфом к моему воспоминанию о Михаиле Вилонове», — писал Горький.

В очерке «Мальчик» («Литературная газета», 8 августа 1934 года) я снова встретил строчку того стихотворения, которое несколько лет назад привел Алексей Максимович:

«Трудно, невозможно рассказать о силе революционного чувства маленького певца, спевшего нам... — славу ненависти, воинствующей за любовь...»

Эта фраза прозвучала в моем сердце, как привет.

Слова Горького: «У нас будет новая большая литература» — я вспомнил на открытии Первого всесоюзного съезда советских писателей. Тринадцать лет прошло с того дня, когда Алексей Максимович произнес эти памятные слова, и вот его предсказание сбылось полностью.

Морщась от резкого света прожекторов, высокий, массивный, в роговых очках, Горький стоял на трибуне, а на него сотнями глаз смотрели новые писатели.

Алексей Максимович читал доклад о советской литературе. Его ровный голос, время от времени прерываемый басистым кашлем, раздавался в тишине огромного, жарко

дышащего зала. Когда чтение закончилось, тишина разрядилась грохотом рукоплесканий. Горький смущенно удалялся в глубь сцены.

Организованный незадолго до съезда Союз писателей Алексей Максимович рассматривал как творческое содружество художников слова, способное гармонически слить разнообразие литературных направлений и целей «в том единстве, которое руководит всею трудотворческой энергией страны».

А. Блок с горечью писал о литературной среде своего времени:

Друг другу мы тайно враждебны,
Завистливы, глухи, чужды,
А как бы и жить и работать,
Не зная извечной вражды!

Поэта угнетали замкнутость и разобщенность пишущих, мелкая зависть и вражда литературных Сальери. Но он мог только мечтать об атмосфере творческого дружелюбия. Для нее не могло быть места в условиях буржуазной литературы.

В возможность создания такой атмосферы в советской литературе верил Горький. Он был провозвестником нового отношения писателей к своему труду и друг к другу.

Алексей Максимович хотел, чтобы общее дело развития нашей литературы ощущалось каждым литератором как свое личное, кровное дело. Так чувствовал и так относился к литературе в первую очередь он сам.

Он учил, воспитывал литературную молодежь и здесь, на съезде,— воспитывал всем своим поведением. Протест Горького против приложения к нему «измерительных», как он выразился, эпитетов был для некоторых молодых очень нелишним напоминанием о скромности.

— Я такой же рядовой писатель, как и все здесь присутствующие,— говорил Алексей Максимович съезду,— и потому эпитетов не надо, не нужны они...

Близким и понятным ему оказался народный певец Дагестана, житель лезгинского аула Сулейман Стальский. Среди делегатов Стальский выделялся своей одеждой горца, тонким смуглым лицом с черноседой бородкой, внешней простотой, за которой угадывалась мудрость. В тот вечер, когда Горький говорил о скромности, он вышел на край сцены и прочел или, вернее, пропел приветственные стихи. Ашуг пел их на родном языке с очень своеобразной инто-

нацией и выразительными жестами. При фразе, означавшей: «Я пришел к вам на съезд с гор Кавказа», он прикоснулся рукой к обуви.

Закрывая съезд, Горький сказал:

— На меня, и — я знаю — не только на меня, произвел потрясающее впечатление ашуг Сулейман Стальский. Я видел, как этот старец, безграмотный, но мудрый, сидя в президиуме, шептал, создавая свои стихи, затем он, Гомер двадцатого века, изумительно прочел их...

Во время этой речи я находился недалеко от трибуны.

Густой бас Горького разносили и усиливали громкоговорители, фигура его казалась кряжистой, мощной. В эти минуты в моем сознании возник образ крепкой, старой сосны на крутом волжском откосе.

Радостно подумалось, что еще не скоро иссякнет жизненная сила Горького, что Алексею Максимовичу и «веку не будет».

Но убийцы Максима Пешкова уже ткали страшную паутину злодейского заговора и вокруг его отца.

На тему: «Великие маленькие люди» я написал поэму «Сад».

Жил в Иванове садовод-опытник Ф. А. Самцов, в прошлом фабричный фельдшер. В годы гражданской войны, когда каждый свободный клочок земли вскапывался под картошку, Самцов начал огородничать. Понемногу его маленький огород превратился в удивительный сад. В этом саду вызревал виноград, росли скороспелые томаты, баклажаны, распускались невиданные на севере цветы. Кроме того, Самцов изобрел несколько земледельческих машин.

За чертами скромного ивановского садовода мне виделся образ Человека с большой буквы — обновителя земли и преобразователя природы.

Поэма о Самцове вышла у меня не сразу. Сначала она была просто длинной биографией в стихах.

В таком виде я предложил ее, незадолго до съезда писателей, редакции нового горьковского журнала «Колхозник». В дни съезда Горький не мог прочесть ее, а после съезда прислал следующее письмо:

«Дорогой Семеновский, мы не можем напечатать в «Колхознике» 43 страницы стихов, однообразных и тяже-

лых, не можем потому, что уверены: наш читатель не одолеет такую массу рифмованных слов.

Но я Вас очень прошу сделать вот что: дайте биографию Самцова и очерк его опытов в прозе, перебивая ее — там и тут — строфами ваших стихов. Биографические сведения о Самцове вам легко собрать, — в газетах края, наверно, был напечатан его некролог. Опыты его продолжает кто-то, кажется, — проф. Шуйский. Вы написали более тысячи строк, дайте нам 200—250, разместив их между прозой.

Этой работой Вы создадите новую форму очерка — патетический, пафосный очерк, и этим Вы положите начало новому приему изображения и, может быть, начало нового течения в литературе нашей. Это не будет романтизм «Путешествия на Гарц» Гейне, а должно быть советской героической романтикой. Вы достигнете этого, если будете писать прозу так, что она сама, свободно и естественно, перейдет в стихи. На мой взгляд, Вы в силе сделать это, и, если сделаете, Вам скажут спасибо тысячи читателей наших и многие поэты, способные работать честно.

В начале я назвал стихи Ваши однообразными и тяжелыми, но когда они будут перебиты прозой — эти качества их значительно понизятся, они — выиграют от соседства с прозой.

Убедительно прошу Вас взяться за эту работу. Впоследствии возможно будет издать всю поэму целиком.

Было бы большой заслугой, если б мы научились писать о наших героях и «знатных людях» так хорошо, как они заслуживают этого.

Крепко жму руку. Очень рад узнать, что Вы живы, здоровы, упрямо работаете...»³⁰

Горькому казалось, что наши очеркисты рассказывают о подвигах героев труда холодно и небрежно. Его пламенная душа возмущалась этим. Человек страстного, действительного отношения к жизни, он и от других литераторов требовал больших чувств и настоящих слов. Он мечтал о новом литературном жанре: об очерке-поэме.

В образах и явлениях нашей действительности столько поэтического, что их словесное изображение требует тоже поэтических средств. Очеркист, рассказывающий о герое нашего времени, строителе новой жизни, обязательно должен быть в какой-то степени поэтом, а тем, кто пишет стихи, нет нужды искать материала для своих вдохновений слишком далеко. Этот материал рассеян всюду, где живут

и действуют «Великие маленькие люди». Нужно только почувствовать, полюбить его.

Очерк, внушенный Горьким, я писал чуть не целый год. Написанное не удовлетворяло, но пора было кончать работу, и я отослал рукопись Алексею Максимовичу, далеко не уверенный в успехе.

Ответ Горького был настоящим сюрпризом:

«Искренно поздравляю Вас, Дмитрий Николаевич, очерк сделан весьма удачно и — я надеюсь — положит основание новой форме литературы.

Предложу «Крестьянской газете» издать его массовым тиражом. На стихи Вы поскупились, но выбрали — хорошо!

Теперь нужно предложить Госиздату издать всю поэму целиком, — для этого пришлите ее в Москву, мне.

Очерк пойдет в «Колхознике» в 6-й книге...»³¹

В предпосланном очерку маленьком вступлении Алексей Максимович еще раз повторил свою мысль о новом приеме изображения советских людей:

«Помещая очерк Дм. Семеновского о Самцове, написанный прозой и стихами, редакция журнала «Колхозник» обращает внимание читателей и очеркистов на возможность особого приема, посредством коего наши герои, наши знатные люди могут быть изображены более ярко, с большим пафосом. Наш человек плохо умещается в прозе, особенно если эту прозу пишут небрежно или с холодной душой. Изображение нашего человека так, как он того заслуживает, должно быть повышено в тоне и красках. Дм. Семеновский пробует сделать это, но у него вся биография Самцова была написана стихами, а прозу он ввел уже в стихи. А не попробует ли молодежь наша писать о людях прозой с таким воодушевлением, с такой гордостью их работой, чтобы проза сама собою превращалась в стихи?»

М. Горький».

Весть о смерти Горького застала меня в Палехе.

Вспоминается поздний вечер, полная мглы комната, неурочный стук в дверь. Вошел художник Иван Иванович Голиков. Извинившись за позднее посещение, сказал:

— Алексей Максимович умер, по радио передавали.

Растерянно разводя сухие ладони, твердил:

— Какое несчастье! Даже не верится!...

Наутро было затмение солнца,— казалось, и природа в знак великой утраты оделась в траур. Потом солнце вновь засияло во всю силу, защебетали птицы, над бутылочно-зеленой водой Палешки зашелестели ольховые ветки. И не хотелось верить в страшную новость.

Но на фасаде художественной мастерской уже появился портрет в черной раме. У всех были строгие, сосредоточенные лица. В артельной столовой художники устроили собрание. На возвышении, осененный траурным знаменем, стоял бюст Горького. Художники, один за другим, выходили на сцену и вспоминали о своих встречах с Алексеем Максимовичем.

Первая встреча произошла в нижегородской иконописной мастерской пятьдесят с лишком лет назад. В то время палешане писали иконы, а подросток Алеша Пешков растирал для них краски. В свободное время он читал иконописцам стихи русских поэтов. Прочел поэму Лермонтова «Демон» и возбудил в одном из лучших мастеров, Жихареве, желание написать Демона красками. Это желание оказалось неосуществимым для подневольного ремесленника-иконописца.

Народные художники, сменившие иконописное ремесло на искусство миниатюры, написали не только лермонтовского «Демона». Горький, через которого Палех впервые прикоснулся к русской литературе, стал и любимым писателем палешан. Образы его произведений художники особенно охотно одевают в краски и золото миниатюр.

Автор композиции «Смелый Данко» палеховский живописец Д. Н. Буторин написал в своей биографии:

«Я избрал двух великих художников слова — Пушкина и Горького. Как-то у них художнику проще найти тему. Когда читаешь, чувствуешь картину... Рассказ старухи Изергиль о смелом Данко, как он жертвовал собой, чтобы вывести людей из мрака к свету, мне очень напоминает нашу коммунистическую партию, которая тоже ведет нашу республику и пролетариат всего мира к социализму...»

Полюбив книги Горького, народные художники скоро встретились и с самим автором.

Горький, собиравший, как жемчужины, талантливых людей страны, объединявший их вокруг себя, не мог безучастно пройти мимо Палеха — целого гнезда талантливых художников, появление которых говорило о буйном расцвете творческих сил народа. Он горячо приветствовал но-

вое искусство художников-самоучек, помог палешанам устроить мастерскую и музей, прислал в Палех библиотеку по истории искусств. Его заботы о Палехе выражались в самых разнообразных формах, начиная от привлечения палешан к иллюстрированию книг, к росписи общественных зданий и кончая покупкой коровы для многосемейного художника Ивана Ивановича Голикова, особенно ценимого Горьким.

В 1932 году издательство «Академия», которым в то время руководил Алексей Максимович, приступило к переизданию «Слова о полку Игореве», поручив художественное оформление книги Палеху.

О живописном украшении «Слова» Горький высказался в письме той поры так:

«Мысль о привлечении палеховских мастеров к работе по оформлению издания «Слова» — отличная мысль! Но я не за «мастеров», а за лучшего, талантливейшего из них, Ивана Голикова, в каком смысле и написал Сокольникову (Михаилу Порфирьевичу. — Д. С.). Привлекая к этой работе одного Голикова, «Академия» обеспечит украшению книги художественное единство стиля, чего нельзя будет достичь работой нескольких мастеров различных степеней дарования...»²⁹.

Весной палешане, в том числе и Голиков, приехали в Москву и побывали у Горького.

По дороге к нему они порядочно волновались, ожидая увидеть сурового и строгого старика. Но оказалось, что фотографии не дают настоящего представления об Алексее Максимовиче. Оказалось, что он, несмотря на свои шестьдесят четыре года, полон сил и ненасытного интереса к жизни. Доброты, светившейся в глазах, игры выразительного лица не могли передать фотографии.

Обращаясь к палешанам с вопросами или рассказывая что-нибудь, Горький иногда прищуривал один глаз, а под рыжеватой хвоей усов дрожала обаятельная улыбка.

В разговоре Алексей Максимович вспомнил друзей своего отрочества, палеховских иконописцев: Виктора Салаутина, Павла Одинцова, Евгения Ситанова. Потом заговорил о новой живописи палешан, — о том, каким успехом пользуются их лаки за границей и насколько молодое советское искусство ярче, полнокровнее, чем вырождающееся буржуазное искусство Запада.

На столе, за которым сидели Горький и его гости, пере-

ливались красками и золотом две голиковских миниатюры. Придвинув одну из них к себе, Алексей Максимович спросил Голикова:

— Сколько времени вы потратили на эти вещи? И каков ваш заработок?

Его интересовало всё: велика ли семья Голикова, как живут остальные мастера, чего нехватает артели народных живописцев?

Прощаясь, Горький сказал:

— Пишите мне, в чем нуждаетесь. Я всегда постараюсь помочь вам.

Он подарил мастерам несколько роскошно иллюстрированных книг по истории живописи. Пожелал Голикову удачи в работе над «Словом о полку Игореве».

В дни, когда страна праздновала сорокалетие литературной и революционно-общественной деятельности Горького, лучшие палеховские мастера снова увиделись с ним.

Они явились к Алексею Максимовичу с подарком — большой шкатулкой, на крышке которой Д. Н. Буторин изобразил сцену из рассказа «Старуха Изергиль». Художники сообщили Горькому о том, что артель древней живописи избрала его почетным членом. Был тут и Голиков. Он принес эскизы иллюстраций к «Слову» — десять удивительных композиций.

Надев очки, Горький начал рассматривать голиковские работы: «Затмение солнца», «Пленение Игоря», «Плач Ярославны» и другие. Он был очарован мастерством художника. Встал, пожал руку Голикова, выразив этим свое восхищение. И спросил:

— Но как же это у вас получилось?

Голиков, худощавый и маленький в сравнении с высоким Горьким, стоял около стола и, запинаясь, говорил, что он старался выполнить работу по-новому и как можно лучше. Возволнованный одобрением Алексея Максимовича, художник объяснялся бессвязно и невнятно, но зато сильно и выразительно звучали краски его эскизов...

После этого мастера не раз встречались с Горьким на выставках, на съездах.

В 1935 году палешане Вакуров, Котухин и Маркичев получили творческую командировку в Армению. Летом, возвращаясь домой, они заехали к Горькому.

Алексей Максимович жил в это время на даче в Горках. Он встретил художников радушно, познакомил их с Ромэ-

ном Ролланом и его женой, которые гостили у него. Все сидели за большим столом. Живописцы разложили альбомы с рисунками, сделанными в Армении. Рассматривая рисунки, Горький спрашивал палешан о дорожных впечатлениях, о творческих планах. И советовал:

— Берите чаще антирелигиозные сюжеты. Вы творчески были особенно поработаны церковью и поэтому кровно заинтересованы в борьбе с религиозными предрассудками...

Писатели и художники сфотографировались вместе на память о встрече.

Мастера собирались уезжать.

Горький сказал:

— Подождите, я покажу вам комнатушку, в которой пишу.

И повел их в свой рабочий кабинет.

Мастера увидели простой стол. На нем — несколько книг и палеховская расписная коробочка. Переливам ярких красок радовались глаза Алексея Максимовича во время работы. Это наполнило живописцев гордостью за свое искусство.

Садись в автомобиль.

Горький, провожая, говорил:

— Кланяйтесь Голикову и всему Палеху. Пишите, не нужно ли чего?..

Вот что вспомнили мастера на траурном заседании.

Вечером они поехали в Москву на похороны Алексея Максимовича.

Палешане, ивановские писатели, ивановские ткачи стояли у его гроба в почетном карауле.

Я не видал Горького в гробу, и он остался в моей памяти живым.

Для людей нашего поколения имя Горького, его образ связаны с весенними зорями юности, с радостью сбывшихся надежд.

Нам выпало счастье узнать его не только как бессмертного писателя, но и как человека, воспоминание о котором пробуждает в сердцах любовь и гордость.

**ПЕРЕЧЕНЬ ПИСЕМ М. ГОРЬКОГО
К Дм. СЕМЕНОВСКОМУ**

1. Капри, 13 (26) мая 1913 г.
2. Капри, 10 (23) июня 1913 г.
3. Капри, 7 (20) августа 1913 г.
4. Капри, не раньше сентября 1913 г.
5. Мустамяки, 22 июня (5 июля) 1914 г.
6. С.-Петербург, 28 июня (11 июля) 1914 г.
7. Мустамяки, 26 июля (8 августа) 1914 г.
8. Петроград, 19 декабря 1914 г. (январь 1915 г.)
9. Петроград, 31 января (13 февраля) 1915 г.
10. Петроград, 30 июня (13 июля) 1915 г.
11. Петроград, 7 (20 октября) 1915 г.
12. Петроград, 10 (23 октября) 1915 г.
13. Петроград, 6 (19) ноября 1915 г.
14. Петроград, 23 января (5 февраля) 1916 г.
15. Петроград, 2 (15) августа 1916 г.
16. Петроград, 1 (14) декабря 1916 г.
17. Петроград, 1917 г.
18. Петроград, в 20-х числах июня 1918 г.
19. Петроград, 23 декабря 1918 г.
20. Петроград, 17 января 1919 г.
21. Петроград, 15 апреля 1919 г.
22. Москва, 16 мая 1919 г.
23. Петроград, 18 июня 1919 г.
24. Сааров, 10 января 1923 г.
25. Сорренто, 3 октября 1928 г.
26. Москва, 19 декабря 1928 г.
27. Сорренто, 7 января 1929 г.
28. Сорренто, 18 ноября 1931 г.
29. Сорренто, 20 февраля 1932 г.
30. Крым, 31 октября 1934 г.
31. Тессели, 23 мая 1935 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
О себе	3
Стихи разных лет	
Мы — за мир	9
Под южным солнцем	10
Стихи о Сталинграде	16
Два брата	21
В майский день	23
Лицо земли	24
Волга	25
Юрьевец	27
Город в поле	29
Владимар	31
Мичурин	33
Гости в Чеганове	34
Милый друг	36
Мечта	37
За любовь	38
Ленин	39
Кровь тридцати	40
Горький	41
Дмитрий Фурманов	45
Весенний вечер	47
Юных глаз счастливое сиянье	48
Тебе неприятны мужчины	49
Земляника душистая	50
Веснушки	51
Мать	52
Дети	54
Школьники	56
Прошла пора	57
Я знаю	59

Палех	60
Художники	62
Лукоморье	64
Цветы	66
О сыне	68
Состарилось лето	73
Мир — хорош	74
Стоит жить	75
О, грустный покой повечерья!	76
Так тихо	77
Жимолость	78
Мягкая голубизна рассвета	79
Поляна, пни, пугливые осинки	80
Сад. Поэма	81
Слово о полку Игореве. Перевод в стихах	99
А. М. Горький. Письма и встречи	125
Перечень писем М. Горького к Дм. Семеновскому	218



Семеновский Дмитрий Николаевич.

ИЗБРАННОЕ

Редактор Д. Г. Прокофьев.

Художник И. Т. Колочков.

Художественный редактор А. В. Пелипенко.

Технический редактор Р. Н. Боголюбова.

Корректоры: Н. А. Смирнова, Г. В. Макашина.

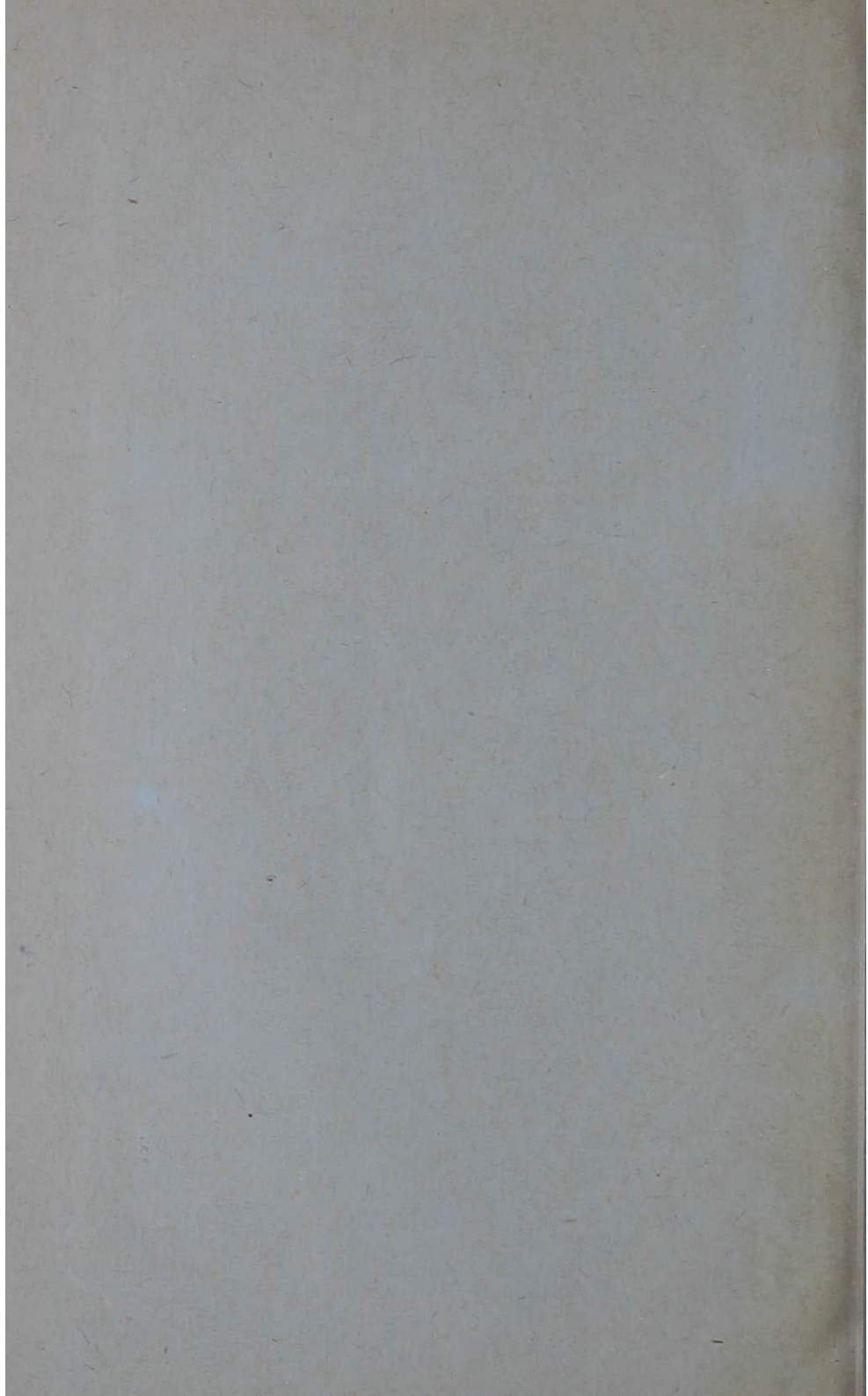
Сдано в набор 30/XI-1954 г. Подписано к печати 11/II-1955 г. Бумага 84×108^{1/2} = 18,75 печ. л., +1 вклейка — 11,27 усл. печ. л., 10 уч.-изд. л.
Тираж 70.0 экз. КЕ 04338.

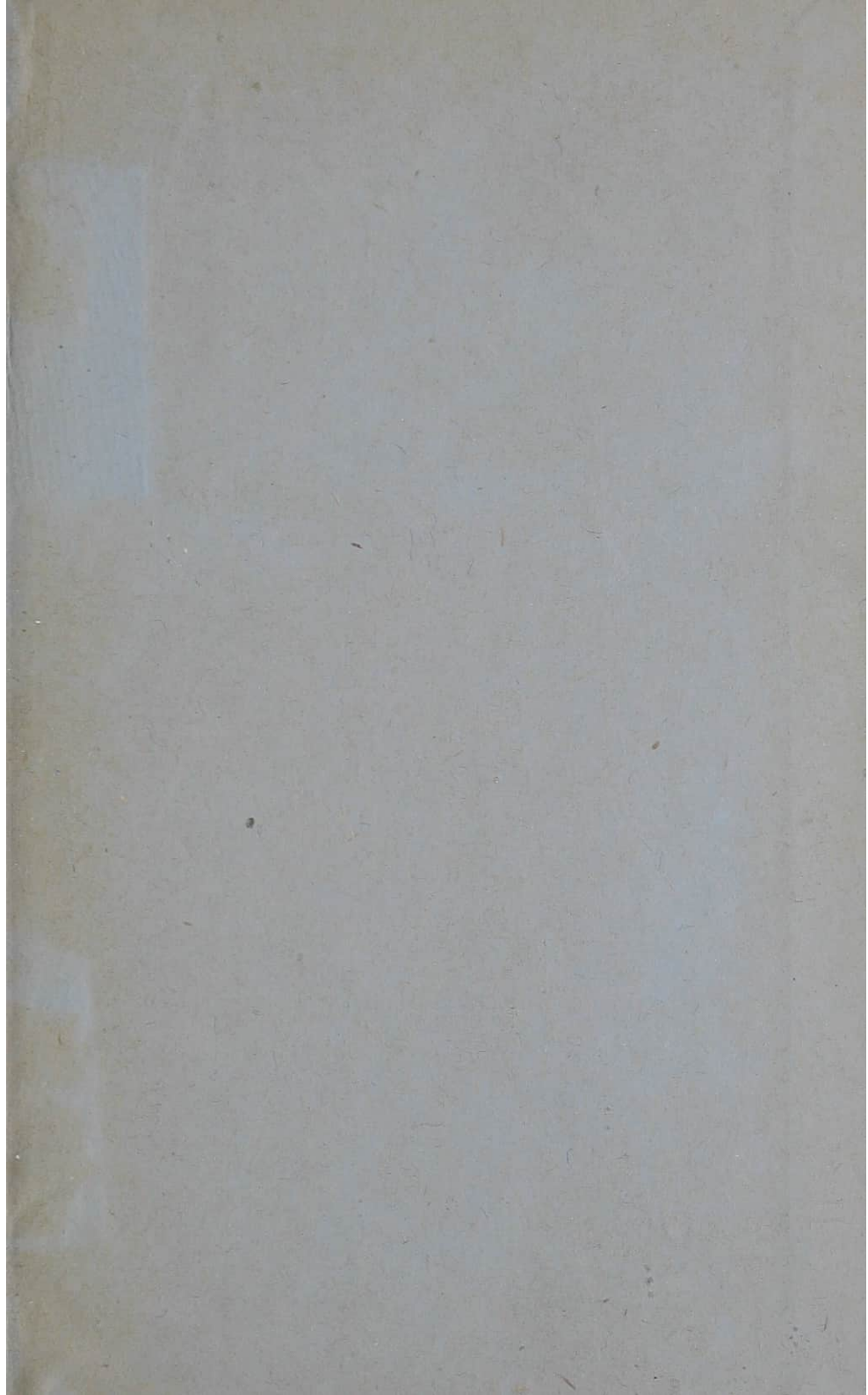
Типография треста Росполиграфпром, г. Иваново, Типографская, 6.

Заказ № 8200.

Цена 4 руб.

Переплет 1 руб.





5 руб.

